



**ВИНО**  
**ИЗ ОДУВАНЧИКОВ**  
ПОЖАЛУЙ, ОДИН ИЗ САМЫХ ВЕЛИКИХ  
РОМАНОВ СОВРЕМЕННОСТИ

**РЭЙ**  
**БРЭДБЕРИ**

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВСЬ МИР

## Annotation

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживите с ним одно лето, наполненное событиями радостными и печальными, загадочными и тревожными; лето, когда каждый день совершаются удивительные открытия, главное из которых – ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь!

«Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери – классическое произведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы.

---

---

# Рэй Брэдбери

## Вино из одуванчиков

*Уолтеру А. Брэдбери, не дядюшке и не двоюродному брату, но, вне всякого сомнения, издателю и другу*

Утро было тихое, город, окутанный тьмой, мирно нежился в постели. Пришло лето, и ветер был летний – теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь: вот она начинается, настоящая свобода и жизнь, вот оно, первое утро лета.

Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, только что открыл глаза и, как в теплую речку, погрузился в предрассветную безмятежность. Он лежал в сводчатой комнатке на четвертом этаже – во всем городе не было башни выше, – и оттого, что он парил так высоко в воздухе вместе с июньским ветром, в нем рождалась чудодейственная сила. По ночам, когда вязы, дубы и клены сливались в одно беспокойное море, Дуглас окидывал его взглядом, пронзавшим тьму, точно маяк. И сегодня...

– Вот здорово! – шепнул он.

Впереди целое лето, несчетное множество дней – чуть не полкалендаря. Он уже видел себя многоруким, как божество Шива из книжки про путешествия: только успевай рвать еще зеленые яблоки, персики, черные, как ночь, сливы. Его не вытащить из лесу, из кустов, из речки. А как приятно будет померзнуть, забравшись в заиндевелый ледник, как весело жариться в бабушкиной кухне заодно с тысячьо цыплят!

А пока – за дело!

(Раз в неделю ему позволяли ночевать не в домике по соседству, где спали его родители и младший братишка Том, а здесь, в дедовской башне; он взбегал по темной винтовой лестнице на самый верх и ложился спать в этой обители кудесника, среди громов и видений, а спозаранку, когда даже молочник еще не звякал бутылками на улицах, он просыпался и приступал к заветному волшебству.)

Стоя в темноте у открытого окна, он набрал полную грудь воздуха и изо всех сил дунул.

Уличные фонари мигом погасли, точно свечки на черном именинном пироге. Дуглас дунул еще и еще, и в небе начали гаснуть звезды.

Дуглас улыбнулся. Ткнул пальцем.

Там и там. Теперь тут и вот тут...

В предутреннем тумане один за другим прорезались прямоугольники – в домах зажигались огни. Далеко-далеко, на рассветной земле вдруг озарилась целая вереница окон.

– Всем зевнуть! Всем вставать!

Огромный дом внизу ожил.

– Дедушка, вынимай зубы из стакана! – Дуглас немного подождал. – Бабушка и прабабушка, жарьте оладьи!

Сквозняк пронес по всем коридорам теплый дух жареного теста, и во всех комнатах встрепенулись многочисленные тетки, дядя, двоюродные братья и сестры, что съехались

сюда погостить.

– Улица Стариков, просыпайся! Мисс Элен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли! Покашляйте, встаньте, проглотите свои таблетки, пошевеливайтесь! Мистер Джонас, запрягите лошадь, выводите из сарая фургон, пора ехать за старьем!

По ту сторону оврага открыли свои драконьи глаза угрюмые особняки. Скоро внизу появятся на электрической Зеленой машине две старухи и покатают по утренним улицам, приветственно махая каждой встречной собаке.

– Мистер Тридден, бегите в трамвайное депо!

И вскоре по узким руслам мощеных улиц поплывет трамвай, рассыпая вокруг жаркие синие искры.

– Джон Хаф, Чарли Вудмен, вы готовы? – шепнул Дуглас улице Детей.

– Готовы? – спросил он у бейсбольных мячей, что мокли на росистых лужайках, у пустых веревочных качелей, что, сучая, свисали с деревьев.

– Мам, пап, Том, проснитесь!

Тихонько прозвенели будильники. Гулко пробили часы на здании суда. Точно сеть, заброшенная рукой Дугласа, с деревьев взметнулись птицы и запели. Дирижируя своим оркестром, Дуглас повелительно протянул руку к востоку.

И взошло солнце.

Дуглас скрестил руки на груди и улыбнулся, как настоящий волшебник. «Вот то-то, – думал он. – Только я приказал – и все повскакали, все забегали. Отличное будет лето!»

И он напоследок оглядел город и щелкнул ему пальцами.

Распахнулись двери домов, люди вышли на улицу.

Лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года началось.

\* \* \*

В то утро, проходя по лужайке, Дуглас наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась его лба и неслышно лопнула.

И от этого пустячного случая он насторожился: день будет не такой, как все. Не такой еще и потому, что бывают дни, сотканые из одних запахов, словно весь мир можно втянуть носом, как воздух: вдохнуть и выдохнуть, – так объяснял Дугласу и его десятилетнему брату Тому отец, когда вез их в машине за город. А в другие дни, говорил еще отец, можно услышать каждый гром и каждый шорох Вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные – на ощупь. А бывают и такие, когда есть все сразу. Вот, например, сегодня – пахнет так, будто в одну ночь там, за холмами, невесть откуда взялся огромный фруктовый сад, и все до самого горизонта так и благоухает. В воздухе пахнет дождем, но на небе – ни облачка. Того и гляди, кто-то неведомый захохочет в лесу, но пока там тишина...

Дуглас во все глаза смотрел на плывущие мимо поля. Нет, ни садом не пахнет, ни дождем, да и откуда бы, раз ни яблонь нет, ни туч. И кто там может хохотать в лесу?..

А все-таки, Дуглас вздрогнул, день этот какой-то особенный.

Машина остановилась в самом сердце тихого леса.

– А ну, ребята, не баловаться!

(Они подталкивали друг друга локтями.)

– Хорошо, папа.

Мальчишки вылезли из машины, захватили синие жестяные ведра и, сойдя с пустынной проселочной дороги, погрузились в запахи земли, влажной от недавнего дождя.

– Ищите пчел, – сказал отец. – Они всегда выются возле винограда, как мальчишки возле кухни. Дуглас!

Дуглас встрепенулся.

– Опять витаешь в облаках, – сказал отец. – Спустись на землю и пойдём с нами.

– Хорошо, папа.

И они гуськом побрели по лесу: впереди отец, рослый и плечистый, за ним Дуглас, а последним семенил коротышка Том. Поднялись на невысокий холм и посмотрели вдаль. Вон там, указал пальцем отец, там обитают огромные, по-летнему тихие ветры и, незримые, плывут в зеленых глубинах, точно призрачные киты.

Дуглас глянул в ту сторону, ничего не увидел и почувствовал себя обманутым: отец, как и дедушка, вечно говорит загадками. И... и все-таки... Дуглас затаил дыхание и прислушался.

«Что-то должно случиться, – подумал он, – я уж знаю».

– А вот папоротник, называется венерин волос. – Отец неторопливо шагнул вперед, синее ведро позвякивало у него в руке. – А это, чувствуете? – И он ковырнул землю носком башмака. – Миллионы лет копился этот перегной, осень за осенью падали листья, пока земля не стала такой мягкой.

– Ух ты, я ступаю как индеец, – сказал Том. – Совсем неслышно!

Дуглас потрогал землю, но ничего не ощутил; он все время настороженно прислушивался. «Мы окружены, – думал он. – Что-то случится! Но что? – Он остановился. – Выходи же! Где ты там? Что ты такое?» – мысленно кричал он.

Том и отец шли дальше по тихой, податливой земле.

– На свете нет кружева тоньше, – негромко сказал отец. И показал рукой вверх, где листва деревьев вплеталась в небо – или, может быть, небо вплеталось в листву? – Все равно, – улыбнулся отец, – все это кружева, зеленые и голубые; всмотритесь хорошенько и увидите – лес плетет их, словно гудящий станок.

Отец стоял уверенно, по-хозяйски и рассказывал им всякую всячину, легко и свободно, не выбирая слов. Часто он и сам смеялся своим рассказам, и от этого они текли еще свободнее.

– Хорошо при случае послушать тишину, – говорил он, – потому что тогда удастся услышать, как носится в воздухе пыльца полевых цветов, а воздух так и гудит пчелами, да-да, так и гудит! А вот – слышите? Там, за деревьями водопадом льется птичье щебетанье!

«Вот сейчас, – думал Дуглас. – Вот оно. Уже близко! А я еще не вижу... Совсем близко! Рядом!»

– Дикий виноград, – сказал отец. – Нам повезло. Смотрите-ка!

«Не надо!» – ахнул про себя Дуглас.

Но Том и отец наклонились и погрузили руки в шуршащий куст. Чары рассеялись. То пугающее и грозное, что подкрадывалось, близилось, готово было ринуться и потрясти его душу, исчезло!

Опустошенный, растерянный, Дуглас упал на колени. Пальцы его ушли глубоко в зеленую тень и вынырнули, обгаренные алым соком, словно он взрезал лес ножом и сунул руки в открытую рану.

– Мальчишки, завтракать!

Ведро чуть не доверху наполнены диким виноградом и лесной земляникой; вокруг гудят пчелы – это вовсе не пчелы, а целый мир тихонько мурлычет свою песенку, говорит отец, а они сидят на замшелом стволе упавшего дерева, жуют сэндвичи и пытаются слушать лес, как слушает он. Отец, чуть посмеиваясь, искоса поглядывает на Дугласа. Хотел было что-то сказать, но промолчал, откусил еще кусок сэндвича и задумался.

– Хлеб с ветчиной в лесу – не то что дома. Вкус совсем другой, верно? Острее, что ли... Мятой отдает, смолой. А уж аппетит как разыгрывается!

Дуглас перестал жевать и потрогал языком хлеб и ветчину. Нет, нет... обыкновенный сэндвич.

Том кивнул, продолжая жевать:

– Я понимаю, пап.

«Ведь уже почти случилось, – думает Дуглас. – Не знаю, что это, но оно большущее, прямо громадное. Что-то его спугнуло. Где же оно теперь? Опять ушло в тот куст? Нет, где-то за мной. Нет, нет, здесь... Тут, рядом».

Дуглас исподтишка пощупал свой живот.

Оно еще вернется, надо только немножко подождать. Больно не будет, я уж знаю, не за тем оно ко мне придет. Но зачем же? Зачем?

– А ты знаешь, сколько раз мы в этом году играли в бейсбол? А в прошлом? А в позапрошлом? – ни с того ни с сего спросил Том.

Губы его двигались быстро-быстро.

– Я все записал! Тысячу пятьсот шестьдесят восемь раз! А сколько раз я чистил зубы за десять лет жизни? Шесть тысяч раз! А руки мыл пятнадцать тысяч раз, спал четыре с лишним тысячи раз, и это только ночью. И съел шестьсот персиков и восемьсот яблок. А груш – всего двести, я не очень-то люблю груши. Что хочешь спроси, у меня все записано! Если вспомнить и сосчитать, что я делал за все десять лет, прямо тысячи миллионов получаются!

Вот, вот, думал Дуглас. Опять оно ближе. Почему? Потому что Том болтает? Но разве дело в Томе? Он все трещит и трещит с полным ртом, отец сидит молча, насторожился как рысь, а Том все болтает, никак не утомонится, шипит и пенится, как сифон с содовой.

– Книг я прочел четыреста штук; кино смотрел и того больше: сорок фильмов с участием Бака Джонса, тридцать – с Джеком Хокси, сорок пять – с Томом Миксом, тридцать девять – с Хутом Гибсоном, сто девяносто два мультика про кота Феликса, десять с Дугласом Фербенксом, восемь раз видел «Призрак в опере» с Лоном Чейни, четыре раза смотрел Милтона Силлса, даже один про любовь, с Адольфом Менжу, только я тогда просидел целых девяносто часов в киношной уборной, все ждал, чтоб эта ерунда кончилась и пустили «Кошку и канарейку» или «Летучую мышь». А уж тут все цеплялись друг за дружку и визжали два часа без передышки. И съел за это время четыреста леденцов, триста тянучек, семьсот стаканчиков мороженого...

Том болтал еще долго, минут пять, пока отец не прервал его:

– А сколько ягод ты сегодня собрал, Том?

– Ровно двести пятьдесят шесть, – не моргнув глазом ответил Том.

Отец рассмеялся, и на этом окончился завтрак; они вновь двинулись в лесные тени собирать дикий виноград и крошечные ягоды земляники. Все трое наклонялись к самой земле, руки быстро и ловко делали свое дело, ведра все тяжелели, а Дуглас прислушивался и думал: «Вот, вот оно, опять близко, прямо у меня за спиной. Не оглядывайся! Работай,

собирай ягоды, кидай в ведро. Оглянешься – спугнешь. Нет уж, на этот раз не упусти! Но как бы его заманить поближе, чтобы поглядеть на него, глянуть прямо в глаза? Как?»

– А у меня в спичечном коробке есть снежинка, – сказал Том и улыбнулся, глядя на свою руку, – она была вся красная от ягод, как в перчатке.

«Замолчи!» – чуть не завопил Дуглас, но нет, кричать нельзя: всполошится эхо и все спугнет...

Постой-ка... Том болтает, а *оно* подходит все ближе, значит, *оно* не боится Тома, Том только притягивает *его*, Том тоже немножко *оно*...

– Дело было еще в феврале, валил снег, а я подставил коробок, – Том хихикнул, – поймал одну снежинку побольше и – раз! – захлопнул, скорей побежал домой и сунул в холодильник!

Близко, совсем близко. Том трещал без умолку, а Дуглас не сводил с него глаз. Может, отскочить, удрать – ведь из-за леса накатывается какая-то грозная волна. Вот сейчас обрушится и раздавит...

– Да, сэр, – задумчиво продолжал Том, обрывая куст дикого винограда. – На весь штат Иллинойс у меня у одного летом есть снежинка. Такой клад больше нигде не сыщешь, хоть тресни. Завтра я ее открою, Дуг, ты тоже можешь посмотреть...

В другое время Дуглас бы только презрительно фыркнул – ну да, мол, снежинка, как бы не так. Но сейчас на него мчалось то, огромное, вот-вот обрушится с ясного неба – и он лишь зажмурился и кивнул.

Том до того изумился, что даже перестал собирать ягоды, повернулся и уставился на брата.

Дуглас застыл, сидя на корточках. Ну как тут удержаться? Том испустил воинственный клич, кинулся на него, опрокинул на землю. Они покатались по траве, барахтаясь и тузя друг друга.

Нет, нет! Ни о чем другом не думать! И вдруг... Кажется, все хорошо! Да! Эта стычка, потасовка не спугнула набегавшую волну; вот она захлестнула их, разлилась широко вокруг и несет обоих по густой зелени травы в глубь леса. Кулак Тома угодил Дугласу по губам. Во рту стало горячо и солоно. Дуглас обхватил брата, крепко стиснул его, и они замерли, только сердца колотились да дышали оба со свистом. Наконец Дуглас украдкой приоткрыл один глаз: вдруг опять ничего?

Вот оно, все тут, все как есть!

Точно огромный зрачок исполинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении, на него в упор смотрел весь мир.

И он понял: вот что нежданно пришло к нему, и теперь останется с ним, и уже никогда его не покинет.

«Я ЖИВОЙ», – подумал он.

Пальцы его дрожали, розовея на свету стремительной кровью, точно клочки неведомого флага, прежде невиданного, обретенного впервые... Чей же это флаг? Кому теперь присягать на верность?

Одной рукой он все еще стискивал Тома, но совсем забыл о нем и осторожно потрогал светящиеся алым пальцы, словно хотел снять перчатку, потом поднял их повыше и оглядел со всех сторон. Выпустил Тома, откинулся на спину, все еще воздев руку к небесам, и теперь весь он был – одна голова; глаза, будто часовые сквозь бойницы неведомой крепости, оглядывали мост – вытянутую руку и пальцы, где на свету трепетал кроваво-красный флаг.

– Ты что, Дуг? – спросил Том.

Голос его доносился точно со дна зеленого замшелого колодца, откуда-то из-под воды, далекий и таинственный.

Под Дугласом шептались травы. Он опустил руку и ощутил их пушистые ножны. И где-то далеко, в теннисных туфлях, шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал ветер. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые картинки в хрустальном шаре. Лесистые холмы были усеяны цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. По огромному опрокинутому озеру небосвода мелькали птицы, точно камушки, брошенные ловкой рукой. Дуглас шумно дышал сквозь зубы, он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Тысячи пчел и стрекоз пронизывали воздух, как электрические разряды. Десять тысяч волосков на голове Дугласа выросли на одну миллионную дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось в горле, а настоящее гулко ухало в груди. Тело жадно дышало миллионами пор.

«Я и правда живой, – думал Дуглас. – Прежде я этого не знал, а может, и знал, да не помню».

Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый! Надо же! Прожил на свете целых двенадцать лет и ничегошеньки не понимал! И вдруг такая находка: дрался с Томом, и вот тебе – тут, под деревом, сверкающие золотые часы, редкостный хронометр с заводом на семьдесят лет!

– Дуг, да что с тобой?

Дуглас издал дикий вопль, сгреб Тома в охапку, и они вновь покатались по земле.

– Дуг, ты спятил?

– Спятил!

Они катились по склону холма, солнце горело у них в глазах и во рту, точно осколки лимонно-желтого стекла; они задыхались, как рыбы, выброшенные из воды, и хохотали до слез.

– Дуг, ты не рехнулся?

– Нет, нет, нет, нет!

Дуглас зажмурился: в темноте мягко ступали пятнистые леопарды.

– Том! – И тише: – Том... Как по-твоему, все люди знают... знают, что они... живые?

– Ясно, знают! А ты как думал?

Леопарды неслышно прошли дальше во тьму, и глаза уже не могли за ними уследить.

– Хорошо бы так, – прошептал Дуглас. – Хорошо бы все знали.

Он открыл глаза. Отец, подбоченясь, стоял высоко над ним и смеялся; голова его упиралась в зеленолистый небосвод. Глаза их встретились.

Дуглас восторженно вскрикнул. «Папа знает, – понял он. – Все так и было задумано. Он нарочно привез нас сюда, чтобы это со мной случилось! Он тоже в заговоре, он все знает! И теперь он знает, что и я уже знаю».

Большая рука опустилась с высоты и подняла его в воздух. Покачиваясь на нетвердых ногах между отцом и Томом, исцарапанный, восторженный, все еще ошарашенный, Дуглас осторожно потрогал свои локти – они были как чужие – и, довольный, облизнул разбитую губу. Потом взглянул на отца и на Тома.

– Я понесу все ведра, – сказал он. – Сегодня я хочу один все тащить.

Они загадочно усмехнулись и отдали ему ведра.

Дуглас стоял, чуть покачиваясь, и его ноша – весь истекающий соком лес – оттягивала ему руки. «Хочу почувствовать все, что только можно, – думал он. – Хочу устать, хочу очень

устать. Нельзя забыть ни сегодня, ни завтра, ни после».

Он шел, опьяненный, со своей тяжелой ношей, а за ним плыли пчелы, и запах дикого винограда, и ослепительное лето; на пальцах вспухали блаженные мозоли, руки онемели, и он спотыкался, так что отец даже схватил его за плечо.

– Не надо, – пробормотал Дуглас. – Я ничего, я отлично справлюсь...

Еще добрых полчаса он ощущал руками, ногами, спиной траву и корни, камни и кору, что словно отпечатались на его теле. Понемногу отпечаток этот стирался, таял, ускользал, Дуглас шел и думал об этом, а брат и молчаливый отец шли позади, предоставляя ему одному пролагать путь сквозь лес к неправдоподобной цели – к шоссе, которое приведет их обратно в город...

\* \* \*

И вот – город в тот же день.

И еще одно откровение.

Дедушка стоял на широком парадном крыльце и, точно капитан, оглядывал широкие недвижимые просторы: перед ним раскинулось лето. Он вопрошал ветер, и недостижимо высокое небо, и лужайку, где стояли Дуглас и Том и вопрошали только его одного:

– Дедушка, они уже созрели?

Дедушка поскреб подбородок:

– Пятьсот, тысяча, даже две тысячи – наверняка. Да, да, хороший урожай. Собирать легко, соберите все. Плачу десять центов за каждый мешок, который вы принесете к прессу.

– Ура!

Мальчики заулыбались и с жаром взялись за дело. Они рвали золотистые цветы, цветы, что наводняют весь мир, переплескиваются с лужаек на мощеные улицы, тихонько стучатся в прозрачные окна погребов, не знают утомону и удержу и все вокруг заливают слепящим сверканием расплавленного солнца.

– Каждое лето они точно с цепи срываются, – сказал дедушка. – Пусть их, я не против. Вон их сколько, стоят гордые, как львы. Посмотришь на них подольше – так и прожгут у тебя в глазах дырку. Ведь простой цветок, можно сказать, сорная трава, никто ее и не замечает, а мы уважаем, считаем: одуванчик – благородное растение.

Они набрали полные мешки одуванчиков и унесли вниз, в погреб. Вывалили их из мешков, и во тьме погреба разлилось сияние. Винный пресс дождался их, открытый, холодный. Золотистый поток согрел его. Дедушка передвинул пресс, повернул ручку, завертел – быстрее, быстрее, – и пресс мягко стиснул добычу...

– Ну вот... вот так...

Сперва тонкой струйкой, потом все щедрее, обильнее побежал по желобу в глиняные кувшины сок прекрасного жаркого месяца; ему дали перебродить, сняли пену и разлили в чистые бутылки из-под кетчупа – и они выстроились рядами на полках, поблескивая в сумраке погреба.

Вино из одуванчиков.

Самые эти слова – точно лето на языке. Вино из одуванчиков – пойманное и закупоренное в бутылки лето. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно: надо

частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня – дня сбора одуванчиков – тоже закупорить и сохранить; а потом настанет такой зимний январский день, когда валит густой снег, и солнца уже давным-давно никто не видел, и, может быть, это чудо позабылось, и хорошо бы его снова вспомнить, – вот тогда он его откупорит! Ведь это лето непременно будет летом неожиданных чудес, и надо все их сберечь и где-то отложить для себя, чтобы после, в любой час, когда вздумаешь, пробраться на цыпочках во влажный сумрак и протянуть руку...

И там, ряд за рядом, будут стоять бутылки с вином из одуванчиков – оно будет мягко мерцать, точно раскрывающиеся на заре цветы, а сквозь тонкий слой пыли будет поблескивать солнце нынешнего июня. Взгляни сквозь это вино на холодный зимний день – и снег растает, из-под него покажется трава, на деревьях оживут птицы, листва и цветы, словно мириады бабочек, затрепещут на ветру. И даже холодное серое небо станет голубым.

Возьми лето в руку, налей лето в бокал – в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток, поднеси его к губам – и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето...

– Теперь – дождевой воды!

Конечно, здесь годится только чистейшая вода дальних озер, сладостные росы бархатных лугов, что возносятся на заре к распахнувшимся навстречу небесам; там, в прохладных высях, они собирались чисто омытыми гроздьями, ветер мчал их за сотни миль, заряжая по пути электрическими зарядами. Эта вода вобрала в каждую свою каплю еще больше небес, когда падала дождем на землю. Она впитала в себя восточный ветер, и западный, и северный, и южный и обратилась в дождь, а дождь в этот час священнодействия уже становится терпким вином.

Дуглас схватил ковш, выбежал во двор и глубоко погрузил его в бочонок с дождевой водой.

– Вот она!

Вода была точно шелк, прозрачный, голубоватый шелк. Если ее выпить, она коснется губ, горла, сердца мягко, как ласка. Но ковш и полное ведро надо отнести в погреб, чтобы вода пропитала там весь урожай одуванчиков струями речек и горных ручьев.

Даже бабушка в какой-нибудь февральский день, когда беснуется за окном вьюга и слепит весь мир и у людей захватывает дыхание, – даже бабушка тихонько спустится в погреб.

Наверху в большом доме будет кашель, чихание, хриплые голоса и стоны, простуженным детям очень больно будет глотать, а носы у них покраснеют, точно вишни, вынутые из наливки, – всюду в доме притаится коварный микроб.

И тогда из погреба возникнет, точно богиня лета, бабушка, пряча что-то под вязаной шалью; она принесет это «что-то» в комнату каждого болящего и разольет – душистое, прозрачное – в прозрачные стаканы, и стаканы эти осушат одним глотком. Лекарство иных времен, бальзам из солнечных лучей и праздного августовского полудня, едва слышный стук колес тележки с мороженым, что катится по мощеным улицам, шорох серебристого фейерверка, что рассыпается высоко в небе, и шелест срезанной травы, фонтаном бьющей из-под косилки, что движется по лугам, по муравьиному царству, – все это, все – в одном стакане!

Да, даже бабушка, когда спустится в зимний погреб за июнем, наверно, будет стоять там тихонько, совсем одна, в тайном единении со своим сокровенным, со своей душой, как и

дедушка, и папа, и дядя Берт, и другие тоже, словно беседуя с тенью давно ушедших дней, с пикниками, с теплым дождем, с запахом пшеничных полей, и жареных кукурузных зерен, и свежескошенного сена. Даже бабушка будет повторять снова и снова те же чудесные, золотящиеся слова, что звучат сейчас, когда цветы кладут под пресс, – как будут их повторять каждую зиму, все белые зимы во все времена. Снова и снова они будут слетать с губ, как улыбка, как неожиданный солнечный зайчик во тьме.

Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков.

\* \* \*

Они приходили неслышно. Уходили почти бесшумно. Трава пригибалась и распрямлялась вновь. Они скользили вниз по холмам, точно тени облаков... Это бежали летние мальчишки.

Дуглас отстал и заблудился. Задыхаясь от быстрого бега, он остановился на краю оврага, на самой кромке над пропастью, и оттуда на него дохнуло холодом. Навострив уши, точно олень, он вдруг учуял старую как мир опасность. Город распался здесь на две половины. Здесь кончилась цивилизация. Здесь живет лишь вспухшая земля, ежечасно совершается миллион смертей и рождений.

И здесь проторенные или еще не проторенные тропы твердят: чтобы стать мужчинами, мальчишки должны странствовать, всегда, всю жизнь странствовать.

Дуглас обернулся. Эта тропа огромной пыльной змеей скользит к ледяному дому, где в золотые летние дни прячется зима. А та бежит к раскаленным песчаным берегам июльского озера. А вон та – к деревьям, где мальчишки прячутся меж листьев, точно терпкие, еще незрелые плоды дикой яблони, и там растут и зреют. А вот эта – к персиковому саду, к винограднику, к огородным грядкам, где дремлют на солнце арбузы, полосатые, словно кошки тигровой масти. Эта тропа, заросшая, капризная, извилистая, тянется к школе. А та, прямая как стрела, – к субботним утренникам, где показывают ковбойские фильмы. Вот эта, вдоль ручья, – к дикой лесной чаще...

Дуглас зажмурился.

Кто скажет, где кончается город и начинается лесная глушь? Кто скажет, город вырастает в нее или она переходит в город? Издавна и навеки существует некая неуловимая грань, где борются две силы и одна на время побеждает и завладевает просекой, ложиной, лужайкой, деревом, кустом. Бескрайнее море трав и цветов плещется далеко в полях, вокруг одиноких ферм, а летом зеленый прибой яростно подступает к самому городу. Ночь за ночью чащи, луга, дальние просторы стекают по оврагу все ближе, захлестывают город запахом воды и трав, и город словно пустеет, мертвеет и вновь уходит в землю. И каждое утро овраг еще глубже вгрызается в город и грозит поглотить гаражи, точно дырявые лодчонки, и пожрать допотопные автомобили, оставленные на милость дождя и разъедаемые ржавчиной.

– Эй! Ау!

Сквозь тайны оврага, и города, и времени мчались Джон Хаф и Чарли Вудмен.

– Эй!

Дуглас медленно двинулся по тропинке. Конечно, если хочешь посмотреть на две самые главные вещи – как живет человек и как живет природа, – надо прийти сюда, к оврагу. Ведь город, в конце концов, всего лишь большой, потрепанный бурями корабль, на нем полно

народу, и все хлопочут без устали – вычерпывают воду, обкалывают ржавчину. Порой какая-нибудь шлюпка, хибарка – детище корабля, смытое неслышной бурей времени, – тонет в молчаливых волнах термитов и муравьев, в распахнутой овражьей пасти, чтобы ощутить, как мелькают кузнечики и шуршат в жарких травах, точно сухая бумага; чтобы оглохнуть под пеленой тончайшей пыли и наконец рухнуть градом камней и потоком смолы, как рушатся тлеющие угли костра, зажженного громом и синей молнией, на миг озарившей торжество лесных дебрей.

Так вот, значит, что тянуло сюда Дугласа – тайная война человека с природой: из года в год человек похищает что-то у природы, а природа вновь берет свое, и никогда город по-настоящему, до конца, не побеждает, вечно ему грозит безмолвная опасность; он вооружился косилкой и тяпкой, огромными ножницами, он подрезает кусты и опрыскивает ядом вредных букашек и гусениц, он упрямо плывет вперед, пока ему велит цивилизация, но каждый дом того и гляди захлестнут зеленые волны и схоронят навеки, а когда-нибудь с лица земли исчезнет последний человек и его косилки и садовые лопаты, изъеденные ржавчиной, рассыплются в прах.

Город. Чаща. Дома. Овраг. Дуглас озадаченно мигает. Но какая же связь меж человеком и природой, как понять, что значат они друг для друга, когда...

Он опустил глаза.

Первый летний обряд позади – одуванчики собраны и заготовлены впрок. Пора приступать ко второму, но Дуглас застыл и не движется с места.

– Дуг! Пошли, Дуг!

Голоса затихли вдалеке.

– Я живой, – сказал Дуглас. – Но что толку? Они еще больше живые, чем я. Как же это? Как же?

Так он стоял, в одиночестве, глядя на свои ноги, не в силах двинуться с места, – и наконец понял.

\* \* \*

В тот вечер Дуглас возвращался домой из кино вместе с родителями и братом Томом и увидел их в ярко освещенной витрине магазина – теннисные туфли. Дуглас поспешно отвел глаза, но его ноги уже ощутили прикосновение парусины и заскользили по воздуху – быстрее, быстрее! Земля завертелась, захлопали полотняные навесы над витринами – такой он поднял ветер, так он мчался... Родители и Том шагали не торопясь, а между ними, пятясь задом, шел Дуглас и не сводил глаз с теннисных туфель там, позади, в полуночной витрине.

– Хорошая была картина, – сказала мама.

– Ага, – буркнул Дуглас.

Стоял июнь, давно миновало то время, когда на лето покупают такие туфли, легкие и тихие, точно теплый дождь, что шуршит по тротуарам. Уже июнь, и земля полна первозданной силы, и все вокруг движется и растет. Трава и по сей день переливается сюда из лугов, омывает тротуары, подступает к домам. Кажется, город вот-вот черпнет бортом и покорно пойдет на дно, и в зеленом море трав не останется ни всплеска, ни ряби. Дуглас вдруг застыл, точно врос в мертвый асфальт и красный кирпич улицы, не в силах тронуться с места.

– Пап, – выпалил он. – Вон там, в окне, теннисные туфли...

Отец даже не обернулся.

– А зачем тебе новые туфли, скажи, пожалуйста? Можешь ты мне объяснить?

– Ну-у...

Да затем, что в них чувствуешь себя так, будто впервые в это лето скинул башмаки и побежал босиком по траве. Точно в зимнюю ночь высунул ноги из-под теплого одеяла и поставил ветру, что дышит холодом в открытое окно, и они стынут, стынут, а потом стягиваешь их обратно под одеяло, и они совсем как сосульки... В теннисных туфлях чувствуешь себя так, будто впервые в это лето бредешь босиком по ленивому ручью и в прозрачной воде видишь, как твои ноги ступают по дну – будто они переломились и движутся чуть впереди тебя, потому что ведь в воде все видится не так...

– Пап, – сказал Дуглас, – это очень трудно объяснить.

Люди, которые мастерили теннисные туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки и что им нужно. Они кладут в подметки чудо-траву, что делает дыхание легким, а под пятку – тугие пружины, а верх ткут из трав, отбеленных и обожженных солнцем в просторах степей. А где-то глубоко в мягком чреве туфель запрятаны тонкие, твердые мышцы оленя. Люди, которые мастерят эти туфли, верно, видели множество ветров, проносившихся в листве деревьев, и сотни рек, что устремляются в озера. И все это было в туфлях, и все это было – лето.

Дуглас попытался объяснить все отцу.

– Допустим, – сказал отец. – Но чем плохи твои прошлогодние туфли? Поройся в чулане, ты, конечно, найдешь их там.

Дугласу стало вдруг жалко мальчишек, которые живут в Калифорнии и ходят в теннисных туфлях круглый год; они ведь даже не знают, какое это чудо – сбросить с ног зиму, скинуть тяжеленные кожаные башмаки, полные снега и дождя, и с утра до ночи бегать, бегать босиком, а потом зашнуровать на себе первые в это лето новенькие теннисные туфли, в которых бегать еще лучше, чем босиком. Но туфли непременно должны быть новые – в этом все дело. К первому сентября волшебство, наверно, исчезнет, но сейчас, в конце июня, оно еще действует вовсю, и такие туфли все еще в силах помчать тебя над деревьями, над реками и домами. И если захочешь – они перенесут тебя через заборы, тротуары и упавшие деревья.

– Как же ты не понимаешь? – сказал Дуглас отцу. – Прошлогодние никак не годятся.

Ведь прошлогодние туфли уже мертвые внутри. Они хороши только одно лето, только когда их надеваешь впервые. Но к концу лета всегда оказывается, что на самом деле в них уже нельзя перескочить через реки, деревья или дома, – они уже мертвые. А ведь сейчас опять настало новое лето, и, конечно, в новых туфлях он опять сможет делать все, что только пожелает.

Они поднялись на крыльцо и вошли в дом.

– Копи деньги, – посоветовал отец. – Месяца через полтора...

– Да ведь тогда лето кончится!

Погасили огонь. Том уснул, а Дуглас все смотрел на свои ноги – они белели под лунным светом, далеко, в конце кровати, свободные от тяжеленных башмаков: только теперь с них свалились эти гири – остатки зимы.

– Надо придумать, почему нужны новые. Надо что-то придумать.

Ну, во-первых, всякий знает, что на холмах, за городом, полным-полно друзей – они

распугивают коров, предсказывают перемену погоды, с утра до ночи жарятся на солнце, так что кожа лупится и они обдирают ее клочьями, словно листки календаря, и снова жарятся на солнце. Если хочешь их поймать, придется бегать быстрее всех белок и лисиц. А в городе полным-полно врагов, они злятся из-за жары и потому помнят все зимние споры и обиды. ИЩИ ДРУЗЕЙ, РАСШВЫРИВАЙ ВРАГОВ! Вот девиз легких как пух волшебных туфель. МИР БЕЖИТ СЛИШКОМ БЫСТРО? ХОЧЕШЬ ЕГО ДОГНАТЬ? ХОЧЕШЬ ВСЕГДА БЫТЬ ПРОВОРНЕЙ ВСЕХ? ТОГДА ЗАВЕДИ СЕБЕ ВОЛШЕБНЫЕ ТУФЛИ! ТУФЛИ ЛЕГКИЕ КАК ПУХ!

Дуглас встряхнул свою копилку – в ней чуть звякнуло. Она была почти пустая.

«Если тебе что-нибудь нужно, добивайся сам, – подумал он. – Ночью постараемся найти ту заветную тропку...»

Огни внизу, в городе, гасли один за другим. В окно дунул ветер. Точно река течет – так бы и пошел с нею...

Во сне он слышал, как в теплой густой траве бежит, бежит, бежит кролик.

Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке, точно по какому-то питомнику, где в конурках собраны со всего света собаки и кошки всевозможных пород, и на ходу он ласково гладил своих любимцев. Мистер Сэндерсон погладил каждую пару башмаков и туфель, выставленных в витрине, и одни казались ему собаками, другие кошками; он касался их заботливой рукой – где поправит шнурки, где вытянет язычок. Потом остановился на самой середине ковра, покрывавшего пол лавки, огляделся вокруг и удовлетворенно кивнул.

Вдалеке, нарастая, загремел гром.

Миг – и в дверях появился Дуглас Сполдинг. Он смущенно глядел вниз, на свои кожаные башмаки, точно они были такие тяжелые, что их никак не оторвешь от асфальта. Он остановился в дверях – и гром тотчас умолк. И вот, мучительно медленно, держа на ладони все свои сбережения и не решаясь поднять глаза, Дуглас шагнул из яркого полуденного света в лавку. Он осторожно разложил столбиками на прилавке медяки, монетки по десять и двадцать пять центов, словно шахматист, что ждет с тревогой – вознесет ли его следующий ход к вершинам торжества или погрузит в бездну отчаяния.

– Все ясно без слов, – сказал мистер Сэндерсон.

Дуглас замер.

– Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить, – продолжал мистер Сэндерсон. – Во-вторых, я каждый день вижу тебя у моей витрины. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, тебе нужны, называя их полным именем, «легкие как пух, мягкие как масло, прохладные как мята» теннисные туфли. В-четвертых, у тебя не хватает денег и тебе нужен кредит.

– Нет! – крикнул Дуглас, тяжело дыша, точно он бежал во сне всю ночь без отдыха. – Не надо мне кредита, я придумал кое-что получше, – выдохнул он наконец. – Сейчас я объясню, только сперва, пожалуйста, скажите мне одно, сэр, мистер Сэндерсон. Вы помните, когда вы сами в последний раз надевали такие туфли?

Старик помрачнел:

– Ну, лет десять назад или двадцать, может быть, даже тридцать... Почему это тебя интересует?

– Знаете что, мистер Сэндерсон, если по-честному, вам надо и самому хоть примерить

ваши теннисные туфли. Ведь вы их людям продаете? Вот и примерьте хоть на минутку, сами увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, поневоле забудешь, как оно бывает. Ведь хозяин табачной лавочки курит, правда? И кондитер всегда, конечно, пробует свой товар. Вот я и думаю...

– Ты, верно, заметил, я тоже не босиком хожу, – сказал старик.

– Но не в теннисных туфлях, сэр! Как же вы их продаете, если не можете даже как следует их расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком и не знаете?

Дуглас говорил с таким жаром, что Сэндерсон даже попятился и в раздумье поскреб подбородок:

– Н-да-а, пожалуй...

– Мистер Сэндерсон, – сказал Дуглас, – вы мне продайте одну вещь, а я тоже продам вам кое-что очень полезное.

– Но неужели для этой сделки необходимо, чтобы я надел пару теннисных туфель, дружок?

– Было бы очень хорошо, сэр!

Старик вздохнул. Через минуту он уже сидел на стуле и, тяжело дыша, зашнуровывал на своих узких длинных ногах теннисные туфли. Туфли казались чужими и неуместными рядом с темными обшлагами его пиджака. Наконец он встал.

– Ну, как вы себя в них чувствуете? – спросил мальчик.

– Как я себя чувствую? Отлично. – И он хотел снова сесть на стул.

– Нет, нет! – Дуглас умоляюще протянул руку. – Теперь, пожалуйста, покачайтесь немного с пяток на носки, попрыгайте, поскочите, что ли, а я вам все доскажу. Значит, так: я отдаю вам деньги, вы отдаете мне туфли. Я должен вам еще доллар. Но как только я надену эти туфли, мистер Сэндерсон, как только я их надену, знаете, что случится?

– Что же?

– Хлоп! Я разношу вашим покупателям на дом покупки, таскаю для вас всякие свертки, приношу вам кофе, убираю мусор, бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку! Я буду летать взад и вперед, взад и вперед, десять раз в минуту! Вот вы теперь сами чувствуете, какие это туфли, сэр, сами чувствуете, как быстро они будут меня носить! Ведь они на пружинах – чувствуете? Они сами бегут! Охватят ногу и уже не дают никакого покоя, им совсем не нравится стоять на одном месте. Вот я и буду делать для вас все, что вам не захочется делать самому, да знаете, как быстро! Вы сидите спокойно у себя в лавке, в холодке, а я буду носиться за вас по всему городу. Но, ведь если по правде, это буду не я, это все туфли! Возьмут и помчатся по улицам как бешеные, раз-два – за угол, раз-два – обратно! Вот как!

Сэндерсона оглушило это красноречие. Поток слов захватил его и понес; он поглубже засунул ноги в туфли, пошевелил пальцами, повертел ступней, вытянул ногу в подъем. В открытую дверь задувал ветерок, и мистер Сэндерсон тихонько покачивался, подставляя ноги под его свежее дуновение. Туфли неслышно тонули в мягком ковре, точно в бархатной траве джунглей, во вспаханном черноземе или в размокшей глине. Старик с серьезным видом привстал на носки, оттолкнулся пятками, словно от пышного теста, от податливой мягкой земли. Все его ощущения отражались у него на лице, как будто быстро переключали разноцветные огни. Рот приоткрылся. Он еще немного покачался на носках – все медленнее, медленнее – и наконец застыл; голос мальчика тоже умолк, и в глубокой, многозначительной тишине они стояли и смотрели в глаза друг другу.

По тротуару под жарким солнцем шли мимо лавки редкие прохожие.

А старик и мальчик все стояли друг против друга, и лицо мальчика сияло, а старик, казалось, обдумывал некое неожиданное открытие.

– Послушай, – сказал он наконец. – Не хочешь ли лет эдак через пять продавать у меня тут ботинки?

– Спасибо, мистер Сэндерсон, только я и сам еще не знаю, что стану делать, когда вырасту.

– Что захочешь, сынок, то и станешь делать, – сказал старик. – Ты своего добьешься. И никто тебя не удержит.

Он легким шагом подошел к стене, где стояло, уж наверно, десять тысяч коробок с обувью, и вернулся к прилавку с туфлями для Дугласа. Потом он писал что-то на листке бумаги, а Дуглас в это время надел туфли, завязал шнурки и теперь стоял и ждал.

Старик кончил писать и протянул ему листок.

– Вот тебе десяток поручений на сегодня. Когда все сделаешь, мы с тобой квиты и ты получаешь расчет.

– Спасибо, мистер Сэндерсон! – Дуглас кинулся прочь из лавки.

– Постой! – закричал старик.

Дуглас остановился и обернулся к нему.

– Ну как туфли? – с интересом спросил старик. Дуглас поглядел на свои ноги – они были уже далеко, на берегу реки, среди пшеничных полей, на ветру, что гнал его из города. Потом вскинул голову и посмотрел на старика; глаза его горели, губы шевелились, но с них не слетело ни звука.

– Антилопы? – Старик перевел взгляд с лица мальчика на туфли. – Газели?

Дуглас подумал, помолчал в нерешительности и торопливо кивнул. И – исчез. Шепнул что-то, круто повернулся и исчез. Дверь – настезь, на пороге – никого. Быстрый шорох теннисных туфель растаял в тропическом зное.

Мистер Сэндерсон стоял в дверях, ослепленный солнцем, и прислушивался. С давних-давних пор, когда его еще одолевали мальчишеские мечты, он помнил этот звук. Под небом мелькали чудесные создания, скользили под деревьями и в кустах, убегали все дальше, и оставалось лишь еле слышное эхо...

– Антилопы, – повторил Сэндерсон. – Газели...

Он нагнулся и поднял с пола брошенные зимние башмаки Дугласа, отяжелевшие от уже забытых дождей и давно растаявших снегов. Потом отошел в тень, подальше от слепящих лучей солнца, и неторопливо, мягко и легко ступая, направился назад, к цивилизации...

\* \* \*

Он вынул пятицентовый блокнот в желтом переплете. Вынул желтый карандаш фирмы Тайкондерога. Открыл блокнот. Лизнул карандаш.

– Знаешь, Том, мне понравилось, как ты все считаешь, – сказал он. – Теперь и я буду так делать, все записывать. Вот ты, верно, про это и не думал, а мы ведь каждое лето опять и опять, снова-здорово делаем то же самое, что делали прошлым летом.

– Например, Дуг?

– Ну, например, делаем вино из одуванчиков, покупаем теннисные туфли, пускаем первый фейерверк, делаем лимонад, вытаскиваем из ног занозы, собираем дикий виноград.

Каждый год одно и то же, в точности как раньше, и никаких перемен, никакой разницы. Но это только одна половина лета, Том.

– А другая?

– Другая – то, что мы делаем первый раз в жизни.

– Например, едим оливки?

– Нет уж, кое-что поважнее. Ну как если мы вдруг увидим, что папа и дедушка не все на свете знают.

– Пожалуйста, не выдумывай! Они знают все, что только можно знать!

– Не спорь, Том. Я уже записал это в «Открытия и откровения». Они знают не все. Но тут нет ничего страшного. Я и это открыл.

– Какую еще ерунду ты там записал?

– Что я живой.

– Вот еще, Америку открыл! Давно известно.

– Нет, я про это думаю, я это замечаю – вот что ново. Сперва живешь, живешь, ходишь, делаешь что-нибудь, а сам даже не замечаешь. И потом вдруг увидишь: ага, я живу, хожу или там дышу, – вот это и есть по-настоящему в первый раз. Теперь я разделю лето на две половины. Первая в моем блокноте называется «Обряды и обыкновенности». Первый раз в этом году пил шипучку. Первый раз в этом году бегал босиком по траве. Первый раз в этом году чуть не утонул в озере. Первый арбуз. Первый комар. Первый сбор одуванчиков. Все это бывает из года в год, и мы про это никогда не думаем. А вторая половина блокнота – «Открытия и откровения». Или даже лучше назвать «Озарения» – вот отличное слово, правда? Или, может, «Ощущения»? В общем, когда делаешь что-нибудь старое, давно известное, ну хоть разливаешь в бутылки вино из одуванчиков, это, конечно, надо записать в «Обряды и обыкновенности». А потом про это подумаешь – и уж тут все мысли, какие придут в голову, все равно, умные или глупые, надо записать в «Открытия и откровения». Вот, слушай, что я записал про это вино: «Каждый раз, когда мы разольем его по бутылкам, у нас остается в целостности и сохранности кусок лета двадцать восьмого года». Ну, что скажешь?

– Я уже давным-давно не понимаю, что ты такое говоришь, – сказал Том.

– Ну гляди, вот я еще записал. В «Обрядах и обыкновенностях» у меня стоит так: «Первый раз спорил с папой и получил первую трепку летом тысяча девятьсот двадцать восьмого года, утром двадцать четвертого июня». А в «Открытиях и откровениях» у меня про это так: «Взрослые и дети – два разных народа, вот почему они всегда воюют между собой. Смотрите, они совсем не такие, как мы. Смотрите, мы совсем не такие, как они. Разные народы – “и друг друга они не поймут”»<sup>[1]</sup>. Вот, мотай себе на ус, Том.

– Верно, Дуг, в самую точку! Ясно, именно так! Поэтому-то мы никак не можем поладить с папой и мамой. Вечно одни неприятности с утра до ночи! Дуг, ты просто гений!

– Значит, так: увидишь за эти три месяца что-нибудь, что мы делаем опять и опять, – тут же скажи мне. Потом подумай про это – и тоже скажи мне. А в День труда мы все это прочитаем и посмотрим, что у нас получится за лето.

– А я тебе прямо сейчас скажу кое-что. Бери карандаш, Дуг. На свете пять миллиардов деревьев. Я это вычитал в книжке. И под каждым деревом есть тень, верно? Значит, откуда берется ночь? А вот откуда: пять миллиардов деревьев – и из-под каждого дерева выползает тень. Представляешь? Вот бы найти способ удержать их все под деревьями и не выпускать – тогда и спать ложиться незачем, ведь ночи-то и не было бы вовсе! Вот тебе и выходит: немножко старого и немножко нового.

– Все правильно, тут есть и старое и новое. – Дуглас лизнул желтый карандаш Тайкондерога (ему ужасно нравилось это название). – Ну-ка, скажи все это еще разок...

– На свете пять миллиардов деревьев, и под каждым деревом лежит тень...

\* \* \*

Да, лето состоит из привычных обрядов, для каждого есть свое привычное время и свое привычное место. Обряд приготовления лимонада или замороженного чая, обряд вина, туфель или босых ног и, наконец, очень скоро, еще один, полный спокойного достоинства обряд: на веранде вешают качели.

На третий день лета, под вечер, дедушка выходит на веранду и принимается невозмутимо разглядывать два пустых кольца, свисающих с потолка. Неторопливо подходит к перилам, уставленным горшками с геранью, точно Ахав, который испытующим взглядом встречает ясный тихий день и ясное небо; потом облизывает палец и подставляет его ветру, снимает пиджак – надо же убедиться, не холодно ли на закате в одной рубашке. Потом издали здороваются с соседями – те тоже выходят на уставленные цветами веранды, чтобы насладиться теплым летним вечером; они даже не слышат, как чирикают за стеной или твякают, точно болонки, их жены.

– Что ж, Дуглас, давай вешать.

Они отыскивают в гараже качели, стирают с них пыль, выносят на веранду, и дедушка подвешивает их к кольцам в потолке, точно водружает парадное седло на слона для торжественного и тихого праздника летних вечеров.

Дуглас легче деда, он первым садится на качели. А потом и солидный дедушка осторожно пристраивается рядом. И они, улыбаясь и кивая друг другу, молча раскачиваются взад и вперед, взад и вперед...

Минут через десять на веранду выходит бабушка с полными ведрами и швабрами, подметает и моет веранду. Из дома выносят легкие стулья, качалки и шезлонги.

– Люблю выбираться на веранду пораньше, – говорит дедушка. – Пока еще не так много moskitov.

Часов в семь раздается легкий скрип – от столов отодвигают стулья, а если постоять под окном столовой, услышишь, как там бренчат на разбитом фортепьяно с пожелтевшими от старости клавишами. Чиркают спички, булькает вода – во всех кухнях моют посуду, со звоном ставят тарелки сушить на полку. А потом понемногу на сумеречных улицах под огромными дубами и вязами оживает дом за домом, на тенистые веранды выходят люди, точно фигурки на часах с барометром, предсказывающих погоду.

Вот появляется дядя Берт, а то и дедушка, потом отец и еще кто-нибудь из родных; женщины еще переговариваются в остывающей кухне, мужчины первыми выходят в сладостную тишь вечера, попыхивая сигаретами, и наводят порядок в своем собственном мире. На веранде зазвучат мужские голоса; мужчины расположатся поудобнее, задрав ноги повыше, а мальчишки, точно воробьи, усядутся рядом на стертых ступеньках или на деревянных перилах, и оттуда за вечер уж непременно что-нибудь свалится – либо мальчишка, либо горшок с геранью.

И наконец за дверью на веранде вдруг возникнут, точно привидения, бабушка, прабабушка и мама, и тогда мужчины зашевелятся, встанут и придвинут им стулья и качалки.

Женщины принесут с собой всевозможные веера, сложенные газеты, бамбуковые метелочки или надушенные носовые платки и за разговором будут ими обмахиваться.

Они болтают без умолку целый вечер, а о чем – на завтра никто уже и не вспомнит. Да никому и не важно, о чем говорят взрослые; важно только, что звук их голосов то нарастает, то замирает над тонкими папоротниками, окаймляющими веранду с трех сторон; важно, что город понемногу наполняется тьмой, как будто черная вода льется на дома с неба, и в этой тьме алыми точками мерцают огоньки, и журчат, журчат голоса. Женщины сплетничают и отмахиваются от первых москитов, и те начинают в воздухе свою неистовую пляску. Мужские голоса проникают в старое дерево домов; если закрыть глаза и прижаться головой к доскам пола, слышно, как рокочут голоса мужчин, точно отдаленное землетрясение, оно не прекращается ни на миг, только слышится то чуть тише, то погромче.

Дуглас растянулся на сухих досках веранды, счастливый и умиротворенный, – голоса эти никогда не умолкнут, они будут вечно обволакивать говорливым потоком его тело, его сомкнутые веки, вливаясь в сонные уши. Качалки потрескивают, как сверчки, сверчки стрекочут, как качалки, а поросшая мхом бочка для дождевой воды под окном столовой рождает все новые поколения москитов и дает тему для разговора еще на множество лет.

Как хорошо летним вечером сидеть на веранде; как легко и спокойно; вот если бы этот вечер никогда не кончился! Это – вечные, надежные обряды; всегда, до скончания века, будут вспыхивать трубки курильщиков, в полутьме будут мелькать бледные руки и в них – вязальные спицы, будет шуршать серебряная обертка мороженого, кто-нибудь все время будет приходить и уходить. Потому что за вечер непременно кто-нибудь придет – из соседних домов или те, кто живет на другой стороне улицы; проедут на своем маленьком жужжащем автомобильчике мисс Ферн и мисс Роберта, иногда они захватят Тома или Дугласа прокатиться вокруг дома, а возвращаясь, посидят на веранде, обмахивая веером пылающие щеки; или мистер Джонас, старьевщик, поставит свой фургон с лошадью где-нибудь под деревьями и впопыхах поднимется по ступенькам – сразу видно, ему не терпится рассказать что-то новенькое, еще не слышанное, и, как ни странно, это и правда бывает что-нибудь новое. И, наконец, дети – они бегают где-то в темноте, напоследок играют в прятки или в мяч, а потом, когда уже вовсе ничего не разглядеть, запыхавшись, с разгоревшимися лицами, точно бумеранги, неслышно возвращаются к дому по бархатной лужайке и затихают под мерное журчание на веранде, и голоса журчат, журчат, баюкают их и усыпляют...

Как чудесно лежать в ночи папоротников, трав, в ночи негромких сонных голосов, все они шелестят и сплетаются, и из них соткана тьма. Взрослые давно о нем забыли – ведь он притаился, лежит тихий, как мышонок, слушает, как они строят планы для него и для себя тоже. И голоса их замирают, плывут с освещенным луной табачным дымком, а мотыльки, точно оживший поздний яблоневый цвет, тихонько стучатся в далекие уличные фонари, и голоса уплывают и льются в грядущие годы...

\* \* \*

В тот вечер мужчины собрались перед табачной лавкой и принялись сжигать дирижабли, топить боевые корабли, взрывать пороховые заводы – словом, смаковать хрупкими ртами те самые бактерии, которые в один прекрасный день их убьют. Смертоносные тучи вспухали в дыму их сигар и окутывали взволнованного человека,

которого почти нельзя было разглядеть сквозь этот дым; он прислушивался к стуку заступов в их речах, словно различал в них пророческое «ибо прах ты, и в прах возвратишься»<sup>[2]</sup>. Это был Лео Ауфман, городской ювелир; наконец он широко раскрыл блестящие черные глаза, вскинул худые, точно детские, руки и в ужасе закричал:

– Перестаньте! Ради бога, прекратите эти похоронные марши!

– Вы правы, Лео, – сказал ему дедушка Сполдинг; он как раз проходил мимо со своими внуками Дугласом и Томом, возвращаясь с обычной вечерней прогулки. – Они каркают как вороны и вещают недоброе, но кто же заткнет им рты? Изобретите что-нибудь, попробуйте сделать будущее ярче, веселее, отраднее. Ведь вы мастерили велосипеды, чинили автоматы в Галерее, были даже киномехаником, правда?

– Верно! – подхватил Дуглас. – Смастерите для нас Машину счастья!

Все засмеялись.

– Не смейтесь, – сказал Лео Ауфман. – Для чего мы до сих пор пользовались машинами? Только чтоб заставить людей плакать. Всякий раз, когда казалось, что человек и машина вот-вот наконец уживутся друг с другом, – бац! Кто-то где-то смошенничает, приделает какой-нибудь лишний винтик – и вот уже самолеты бросают на нас бомбы и автомобили срываются со скал в пропасть. Отчего же мальчику не попросить Машину счастья? Он совершенно прав!

Лео Ауфман умолк, подошел к краю тротуара и погладил свой велосипед, словно собаку или кошку.

– Что мне терять? – бормотал он. – Наживу еще несколько мозолей на руках, потрачу еще несколько фунтов железа да немного меньше посплю. Решено, я ее сделаю, клянусь, я ее сделаю!

– Лео, – сказал дедушка, – мы вовсе не хотели...

Но Лео Ауфман был уже далеко; изо всех сил нажимая на педали велосипеда, он мчался в теплый летний вечер, и лишь издали донесся его голос:

– Я ее сделаю... сделаю...

– А знаешь, – почтительно сказал Том, – он и правда сделает, вот увидишь.

Посмотришь, как Лео Ауфман катит на своем велосипеде по вечерней каменистой улице, круто сбегаящей с холма, – и сразу понятно, что этому человеку все вокруг по душе: как шуршит в нагретой солнцем траве чертополох, когда ветер пышет жаром в лицо, словно из раскаленной печи, и как звенят под дождем электрические провода. Он был не из тех, для кого бессонная ночь – мучение; напротив, когда не спалось, он лежал и вволю предавался размышлениям: как работает гигантский часовой механизм Вселенной? Кончается ли завод в этих исполинских часах или им предстоит отсчитывать еще долгие, долгие тысячелетия? Кто знает! Но бесконечными ночами, прислушиваясь к темноте, он то решал, что конец близок, то – что это только начало...

Главные потрясения и повороты жизни – в чем они? – думал он сейчас, крутя педали велосипеда. Рождаешься на свет, растешь, стареешь, умираешь. Рождение от тебя не зависит. Но зрелость, старость, смерть – может быть, с этим можно что-нибудь сделать?

В голове у него, сверкая легкими золотыми спицами, вертелись колеса его Машины счастья. Это должна быть машина, которая поможет мальчишкам персиковый пушок на щеках сменить на мужественную щетину, а девчонкам – превратиться из нескладных гусениц в ярких бабочек. И в зрелые годы, когда счет ударам сердца идет уже на миллиарды, когда лежишь ночью в постели и только тревожный дух твой скитается по земле, эта машина

утолит тревогу и человек сможет мирно дремать вместе с палыми листьями, как засыпают осенью мальчишки, растянувшись на копне душистого сухого сена и безмятежно сливаясь с уходящим на покой миром...

– Папа!

По лужайке ему навстречу бежали дети, все шестеро: Саул, Маршалл, Джозеф, Ребекка, Рут и Ноэми, – младшему пять, старшему пятнадцать; каждому хотелось взять у отца велосипед, каждый спешил коснуться его руки.

– Мы тебя ждали! У нас сегодня мороженое!

Лео двинулся к веранде, чувствуя невидимую в темноте улыбку жены.

Пять минут прошло в блаженном молчании – все рты были заняты; потом Лео поднял вверх ложку серебристого мороженого, точно в нем и заключалась тайна Вселенной и касаться ее следовало очень осторожно, и спросил:

– Лина, что ты скажешь, если я попробую изобрести Машину счастья?

– Что-нибудь случилось? – тотчас спросила жена.

\* \* \*

Дедушка вел Дугласа и Тома домой. На полпути мимо роем метеоров пронеслась орава мальчишек, и среди них Чарли Вудмен и Джон Хаф; сила их притяжения была так велика, что они оторвали Дугласа от Тома и дедушки и увлекли за собой к оврагу.

– Не заблудись, внучек!

– Нет, нет, дедушка, не заблужусь!

И мальчишки скрылись в темноте.

А дедушка с Томом прошли весь остальной путь до дома в молчании, и, только когда они уже вошли в калитку, Том сказал:

– Надо же, Машина счастья! Вот здорово!

– Не пыхти, – сказал дедушка.

Часы на здании суда пробили восемь.

Часы на здании суда пробили девять; становилось поздно – в сущности, на этой скромной улочке маленького городка в большом штате огромного континента на планете Земля, мчащейся в пропасть Вселенной, в никуда или куда-нибудь, была уже ночь, и Том ощущал каждую милю этого бесконечного и стремительного падения. Он сидел у двери веранды и сквозь мелкую сетку от москитов глядел на стремительную тьму, у которой был самый невинный вид, как будто она вовсе и не движется. Только если лечь и закрыть глаза, чувствуешь, как под твоей постелью вертится земной шар и темное море оглушает тебя, подступая и разбиваясь о незримые рифы.

Пахло дождем. В доме мама гладила белье и сквозь пробку брызгала водой из бутылочки на похрустывающее сухое полотно.

А одна лавка за квартал отсюда была еще открыта – лавка миссис Сингер.

И наконец, когда миссис Сингер, верно, совсем уже собралась закрывать, мама сжалась и сказала Тому:

– Сбегай возьми пинту мороженого, да присмотри, чтобы она поплотней его набила.

А можно ее попросить, пускай сверху польет мороженое шоколадом, а то он не любит

ванили, спросил Том. И мама позволила. Он зажал деньги в кулаке и как был босиком побежал по теплому вечернему асфальту тротуара, под яблонями и дубами. Город стоял тихий и далекий, слышно было лишь стрекотанье сверчков где-то за жаркими иссиня-фиолетовыми деревьями, что заслоняют звезды.

Шлепая босыми пятками по асфальту, он перебежал улицу. Миссис Сингер важно расхаживала по своей лавке, напевая еврейскую песенку.

– Пинту мороженого? – переспросила она. – И полить шоколадом? Хорошо!

Том смотрел, как она отвинчивает металлическую крышку мороженицы, как вертит большой круглой ложкой, плотно набивает пинтовую картонку и поливает: «Шоколадом? Хорошо!» Он отдал деньги, взял ледяной пакет, потерся о него лбом и щекой, засмеялся и – шлеп-шлеп босыми ногами – побежал домой. Позади в лавке миссис Сингер мигнул и погас одинокий огонек, теперь мерцал лишь фонарь на углу улицы – казалось, весь город погружается в сон.

Том распахнул затянутую сеткой от москитов дверь веранды: мама еще гладила. Видно, ей было очень жарко и она была чем-то недовольна, но все-таки улыбнулась ему.

– Когда папа вернется со своего собрания? – спросил Том.

– Часов в одиннадцать, а то и позже, – ответила мама, унесла мороженое в кухню и поделила его. Дала Тому побольше шоколада, немного взяла себе, а остальное убрала. – Это Дугласу и отцу, когда вернутся, – пояснила она.

Так они сидели, наслаждаясь мороженым, окутанные глубокой тишиной летнего вечера. Только вдвоем – мама и он, и вокруг них, вокруг их домика и улочки – ночь. Том старательно облизывал ложку, прежде чем набрать следующую; мама отодвинула гладильную доску, отставила утюг, и он понемногу остывал, а она сидела в кресле у патефона, ела мороженое и говорила:

– Ну и денек выдался, вот жарница-то! Земля целый день впитывает в себя зной, а вечером опять его отдает. Душно будет спать!

Они прислушивались к ночи, ощущая, как она подступает ко всем окнам и дверям и как давит тишина, потому что в приемнике сели батареи, а все пластинки играны-переиграны уже тысячу раз и надоели до смерти; и Том просто сидел на деревянном полу и смотрел в черную-черную черноту, прижимаясь лицом к сетке двери так, что на кончике носа отпечатались маленькие темные квадратики.

– Где же это Дуг? Уже почти половина десятого.

– Придет, – сказал Том.

Уж конечно, Дуглас придет.

Мама пошла мыть посуду, и Том отправился за ней. Каждый звук, звон ложки или тарелки гулко раздавался в знойном вечернем воздухе. Потом они молча пошли в большую комнату, сняли с дивана подушки, вдвоем раскрыли его и разложили – ведь на самом деле это был вовсе не диван, а широченная кровать. Мама постелила им с Дугласом постель, ловко взбила подушки, Том начал было расстегивать рубашку, но она сказала:

– Погоди минутку, Том.

– Почему?

– Надо.

– Ты какая-то чудная, мам.

Она опустилась на стул, но сразу же встала, подошла к двери и позвала. Она звала снова и снова: «Дуглас! Дуг! Ду-уг!» Ее голос уплывал в душную тьму и тонул в ней без всякого

отклика. Даже эхо не отвечало.

– Дуглас! Дуглас! Дуглас! Ду-у-у-гла-а-ас!

Том сидел на полу, и его пронизывал холод, но виной тому было не мороженое, и не зима, и не летний зной. Он видел – мама то растерянно озирается, то закрывает глаза, стоит и не знает, что делать, и очень волнуется. Да, сразу видно – растеряна и волнуется.

Она открыла дверь веранды. Шагнула в темноту, спустилась по ступенькам, прошла по дорожке под кусты сирени. Том прислушивался к ее шагам.

Она опять позвала.

Молчание.

Она позвала еще два раза. Том все сидел в комнате. Вот сейчас с длинной-длинной узкой улицы донесется голос Дугласа: «Иду, мам! Не беспокойся, я иду!»

Но Дуглас не отвечал. Том долгие две минуты сидел, глядя на раскрытую постель, на молчащее радио и молчащий патефон, на люстру, где как ни в чем не бывало поблескивали стеклянные висяльки, на ковер, расписанный пунцовыми и фиолетовыми завитушками. Потом нарочно стукнул ногой о кровать, чтобы поглядеть, будет ли больно. Оказалось – больно.

Дверь веранды со скрипом отворилась, и мама сказала:

– Пойдем, Том. Пройдемся.

– Куда?

– Просто по улице. Идем.

Он взял ее за руку. Они пошли по Сент-Джеймс-стрит. Асфальт под ногами был все еще теплый, сверчки стрекотали громче прежнего в сгущавшейся тьме. Они дошли до угла, свернули и двинулись по направлению к Западному оврагу.

Где-то проплыл автомобиль, сверкнул вдали фарами. На улицах никаких признаков жизни – ни света, ни движения. Кое-где позади мерцали слабо освещенные квадраты окон – в той стороне, откуда они шли, не все еще легли спать. Но очень, очень многие дома уже стояли без огней и спали, а перед некоторыми, тоже темными, на крылечках сидели их обитатели и вполголоса вели вечернюю беседу. Кое-где на верандах поскрипывали качели.

– Хоть бы отец был дома, – сказала мама. Она сжимала в своей большой руке руку Тома. – Ну постой, дай мне только добраться до этого мальчишки! Душегуб опять вышел на охоту. Он убивает людей. Всем грозит опасность. Никто не знает, где и когда он вдруг появится. Вот клянусь, пусть только Дуг придет домой, я его так отколочу, век будет помнить.

Они прошли еще квартал и теперь стояли перед черным силуэтом немецкой баптистской церкви на углу Чепел-стрит и Глен-Рок. В сотне шагов за церковью начинался овраг. Том уже чувствовал его: оттуда тянуло канализационной трубой, сгнившими листьями, душным и влажным запахом сплошных зеленых зарослей. Овраг был широкий, извилистый, он перерезал город, и мама всегда говорила, что это и днем-то непроходимые дебри, а уж ночью к нему лучше и близко не подходить.

Оттого что рядом церковь, страхи должны бы рассеяться, но Тому все равно было жутко: в этот час, темная, без единого огонька, она казалась холодной и бесполезной развалиной на краю оврага.

Тому было всего десять лет. Он ничего толком не знал о смерти, страхе, ужасе. Смерть – это восковая кукла в ящике, он видел ее в шесть лет: тогда умер его прадедушка и лежал в гробу, точно огромный упавший ястреб, безмолвный и далекий, – никогда больше он не

скажет, что надо быть хорошим мальчиком, никогда больше не будет спорить о политике. Смерть – это его маленькая сестренка: однажды утром (ему было в то время семь лет) он проснулся, заглянул в ее колыбельку, а она смотрит прямо на него застывшими, слепыми синими глазами... а потом пришли люди и унесли ее в маленькой плетеной корзинке. Смерть – это когда он месяц спустя стоял возле ее высокого стульчика и вдруг понял, что она никогда больше не будет тут сидеть, не будет смеяться или плакать и ему уже не будет досадно, что она родилась на свет. Это и была смерть. И еще смерть – это Душегуб, который подкрадывается невидимкой, и прячется за деревьями, и бродит по округе, и выжидает, и раз или два в год приходит сюда, в этот город, на эти улицы, где вечерами всегда темно, чтобы убить женщину; за последние три года он убил трех. Это смерть...

Но сейчас тут не просто смерть. В этой летней ночи под далекими звездами на него разом нахлынуло все, что он испытал, видел и слышал за всю свою жизнь, и он захлебывался и тонул.

Они сошли с тротуара и зашагали по протоптанной, усыпанной щебнем тропинке – по обе стороны густо росла сорная трава, и в ней громко, неумолчно трещали сверчки. Том послушно шел за матерью – большой, храброй, прекрасной, его защитницей от всего света. Так вдвоем они шли и шли – и вот остановились на самом краю цивилизации.

Овраг.

Здесь, в этой пропасти посреди черной чащобы, вдруг сосредоточилось все, чего он никогда не узнает и не поймет; все, что живет, безымянное, в непроглядной тени деревьев, в удушливом запахе гниения...

А ведь они с матерью здесь совсем одни.

И ее рука дрожит!

Да, дрожит, ему не почудилось... Но отчего? Мама ведь больше, сильнее, умнее его? Неужели и она тоже чувствует эту неуловимую угрозу, то зловещее, что затаилось там, внизу, и сейчас выползет из темноты? Значит, можно вырасти и все равно не стать сильным? Значит, стать взрослым вовсе не утешение? Значит, в жизни нет прибежища? Нет такой надежной цитадели, что устояла бы против надвигающихся ужасов ночи? Сомнения разрывали его. Мороженое вновь обожгло ему холодом горло, все внутри похолодело, по спине пошел мороз, оледенели руки и ноги; ему вдруг стало очень зябко, точно вновь налетел из прошлого декабрьский ветер.

Так вот оно что! Значит, это участь всех людей: каждый человек для себя – один-единственный на свете. Один-единственный, сам по себе среди великого множества других людей, и всегда боится. Вот как сейчас. Ну закричишь, станешь звать на помощь – кому какое дело?

Тьма поглотит в одно мгновение; одно чудовищное, леденящее мгновение – и все кончено. Еще задолго до рассвета, задолго до того, как полицейские начнут прощупывать своими фонариками темную, растревоженную тропинку и на ней зашуршит щебень под ногами людей, которые в смятении кинутся на помощь. И даже если они сейчас только в пятистах шагах от тебя, а уж наверно так оно и есть, темный прибой может захлестнуть за три секунды и отнять у тебя все твои десять лет, и...

Жизнь – это одиночество. Внезапное открытие обрушилось на Тома как сокрушительный удар, и он задрожал. Мама тоже одинока. В эту минуту ей нечего надеяться ни на святость брака, ни на защиту любящей семьи, ни на конституцию Соединенных Штатов, ни на полицию; ей не к кому обратиться, кроме собственного сердца, а в сердце

своем она найдет лишь неодолимое отвращение и страх. В эту минуту перед каждым стоит своя, только своя задача, и каждый должен сам ее решить. Ты совсем один, пойми это раз и навсегда.

Том проглотил комок, застрявший в горле, и прижался к матери. «Господи, не дай ей умереть, – молил он. – Не делай нам ничего плохого. Папа придет с собрания через час, и если дома никого не будет...»

Мать двинулась по тропинке в дикую чащу.

– Мам, ты за Дуга не бойся, – дрожащим голосом сказал Том. – С ним ничего не случилось. Ты за него не бойся, с ним ничего не случилось.

– Он всегда возвращается этим путем. – Голос матери звенел от напряжения. – Я сто раз говорила ему – ходи другой дорогой, но эти проклятые мальчишки все равно лезут напролом. Когда-нибудь он пойдет туда и больше не вернется.

**БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ.** Это может означать что угодно. Бродяги. Преступники. Тьма. Несчастный случай. А главное – смерть!

Один во всей Вселенной.

На свете миллион таких городишек. И в каждом так же темно, так же одиноко, каждый так же от всего отрешен, в каждом – свои ужасы и свои тайны. Пронзительные, заунывные звуки скрипки – вот музыка этих городишек без света, но со множеством теней. А какое необъятное, непомерное одиночество! А неведомые овраги, что засасывают как трясина! Жизнь в этих городишках по ночам оборачивается леденящим ужасом: разуму, семье, детям, счастьем со всех сторон грозит чудище, имя которому – Смерть.

Мать снова громко позвала в темноту:

– Дуглас! Дуг!

И вдруг оба почувствовали – что-то случилось.

Сверчки умолкли.

Стало совсем тихо.

Он и не знал, что бывает такая тишина. Беспредельная, бездыханная тишина. Отчего замолчали сверчки? Отчего? Какая этому причина? Прежде они никогда не умолкали. Никогда.

Значит... Значит...

Сейчас что-то случится.

Казалось, овраг напрягает свои черные мышцы, вбирает в себя все силы спящих городков и ферм на многие мили вокруг. Великая тишина пропитанных росой лесов, и долин, и накатывающихся, как прибой, холмов, где собаки, задрав морды, воют на луну, вся собиралась, стекалась, стягивалась в одну точку, и в самом сердце тишины были они – мама и Том. Вот сейчас, сию минуту что-то случится, что-то случится. Сверчки все молчат, звезды опустились так низко, что, кажется, протяни руку – и на пальцах останется позолота. Их не счесть, звезд, они жаркие, колючие...

Все растет, разбухает тишина. Все острее, напряженней ожидание. Ох как темно, пустынно, как бесприютно!

И вдруг далеко-далеко за оврагом – голос:

– Я здесь, мам! Иду, мама!

И снова:

– Мам, а мам! Иду!

Шлеп-шлеп-шлеп – мчатся ноги в теннисных туфлях по дну оврага: с хохотом несутся

трое мальчишек – брат Дуглас, Чарли Вудмен и Джон Хаф. Бегут, хохочут...

Звезды взвились вверх, точно десять миллионов ужаленных улиток втянули свои рожки. Сверчки застрекотали.

Темнота отступила, испуганная, ошарашенная, злобная. Отступила, потеряв аппетит, – ведь она совсем уже собралась пожить, и вдруг ей так грубо помешали. И когда темнота отхлынула, точно волна во время отлива, из нее возникли, смеясь, трое мальчишек.

– Мам! Том! Привет!

И сразу вокруг запахло Дугласом. Ведь от него всегда пахнет потом, травой, деревьями, ветвями и ручьем.

– Вам предстоит порка, молодой человек, – объявила мама.

От ее страхов и следа не осталось. Том знал; она никогда в жизни никому про это не расскажет, никогда. Но страх этот навсегда останется у нее в душе, и в душе Тома тоже.

Темной летней ночью они шли домой, спать. Как хорошо, что Дуглас живой! Как хорошо! А на одну секунду там, на краю оврага, ему подумалось...

Где-то далеко, по смутному, озаренному луной лесу, над виадуком, потом внизу, по долине, прогрохотал поезд, он отчаянно свистел, точно безымянный железный зверь заблудился в ночи. Том улегся в постель рядом с братом; весь дрожа, он прислушивался к этому свисту и думал: далеко-далеко, там, где сейчас мчится поезд, жил их двоюродный брат – и умер от воспаления легких много лет назад, вот в такую же ночь... Дуглас лежал рядом, от него пахло потом. И это было как волшебство. Том перестал дрожать.

– Только две вещи я знаю наверняка, Дуг, – прошептал он.

– Какие?

– Одна – что ночью ужасно темно.

– А другая?

– Если мистер Ауфман когда-нибудь в самом деле построит Машину счастья, с оврагом ей все равно не совладать.

Дуглас немного подумал:

– Повтори, что ты сказал.

Они умолкли: на улице внезапно раздались шаги – ближе, ближе, вот они уже под деревьями, возле дома, на тротуаре. Мама со своей кровати негромко сказала:

– Папа идет.

И не ошиблась.

\* \* \*

Поздно вечером на веранде сидел Лео Ауфман и что-то писал в темноте – бумагу и ту толком нельзя было разглядеть. Время от времени он восклицал: «Ага!» или «И это тоже!» – значит, ему в голову приходило еще что-нибудь подходящее для его списка. Потом дверь чуть стукнула, точно в сетку от москитов ударились ночная бабочка.

– Лина? – шепнул Ауфман.

Она села рядом с ним на качели, в одной ночной сорочке, не тоненькая, как семнадцатилетняя девочка, которую еще не любят, и не толстая, как пятидесятилетняя женщина, которую уже не любят, но складная и крепкая, именно такая, как надо, – таковы

женщины во всяком возрасте, если они любимы.

Она была удивительная. Ее тело, как и его собственное, всегда думало за нее, только по-другому: оно вынашивало детей или входило впереди Лео в каждую комнату, чтобы неуловимо изменить там самый воздух под стать настроению мужа. Казалось, она никогда не задумывается надолго; мысль тотчас передавалась от ее головы плечам, пальцам и претворялась в действие так незаметно и естественно, что Лео не смог бы да и не хотел изобразить это какими-либо чертежами.

– Эта Машина... – сказала она наконец. – Не нужна она нам.

– Да, – отозвался он, – но иногда нужно позаботиться и о других. Я вот все думаю, что туда вставить? Кинокартины? Радиоприемники? Стереоскопические очки? Если собрать все это вместе, всякий человек пощупает, улыбнется и скажет: «Да, да, это и есть счастье».

Сочинить такую хитрую механику, думал он, что пускай у человека промокли ноги, или ноет язва, или его мучает бессонница, и он ворочается в постели всю ночь напролет, и душу его грызут заботы, а все равно твоя Машина даст ему счастье, как та магическая крупинка соли, что брошена в океан, и вечно рождает соль, и обратила все море в соляной раствор. Кто не расшибся бы в лепешку, лишь бы изобрести такую Машину? Пусть ему ответит на этот вопрос целый мир, пусть ответит весь городок, пусть ответит жена!

Лина смущенно молчала, сидя рядом с ним на качелях, и ее молчание говорило яснее всяких слов.

Лео тоже умолк, запрокинул голову и слушал, как свищет ветер в густой листве могучего вяза.

«Не забывай, – говорил он себе, – и этот шелест листьев тоже нужен для твоей Машины».

Через минуту веранда опустела, пустые качели неподвижно повисли в темноте.

\* \* \*

Дедушка улыбнулся во сне.

Он почувствовал эту улыбку, удивился ей – и проснулся. Полежал немного, прислушался к себе – и понял, откуда она взялась.

Ибо он слышал нечто гораздо более важное, нежели пение птиц или шелест молодой листвы. Каждый год наступал день, когда он вот так просыпался и ждал этого звука, который означал, что теперь-то уж лето началось по-настоящему. Оно начиналось вот в такое утро, когда кто-нибудь из домочадцев или гостей, племянник, сын или внук, выходил на лужайку под его окном и металлические ножи и спицы, кружа и звеня по душистой летней траве, прилежно обегали ее по краям – на север, на восток, на юг, на запад, описывая все меньшие и меньшие квадраты. Косилка звонко стрекотала, из-под ножей брызгали головки клевера, редкие золотые искры уцелевших после сбора одуванчиков, муравьи, палочки, камешки, остатки прошлогоднего празднования Четвертого июля – обгорелые шутихи и кусочки трута, но главное – за ней стлался прохладный, чистый поток сочной зеленой травы. Дедушке уже представлялось, как она щекочет его ноги, охлаждает разгоряченное лицо, наполняет ноздри извечным ароматом вновь родившегося лета и обещает: да, мы все – ВСЕ! – проживем еще целый год.

«Великое чудо – косилка, – говорил себе дедушка. – Какой это дурак выдумал, что новый

год начинается первого января? Надо было поставить дозорных караулить рост травы на миллионах лужаек Иллинойса, Огайо или Айовы, и как заметят, что она созрела для сенокоса, в то самое утро вместо фейерверков, фанфар и криков пусть начинается великая бурная симфония косилок, срезающих свежие травы на необъятных луговых просторах. В тот единственный день в году, который по-настоящему знаменует собой начало, людям надо бы бросать друг в друга не конфетти и не серпантин, а пригоршни свежескошенной травы».

Дедушка хмыкнул – что-то уж больно долгую философию развел! – встал, подошел к окну и высунулся в ласковый солнечный свет. Так и есть: Форестер, новый жилец, молодой газетчик, как раз заканчивает ряд.

– Доброе утро, мистер Сполдинг!

– Так ее, хорошенько, Билл! – с жаром крикнул дедушка и вскоре уже сидел внизу и уплетал приготовленный бабушкой завтрак; широкое окно было раскрыто, и жужжание косилки словно подпевало завтраку.

– От этой косилки на душе становится спокойнее, – заметил дедушка. – Ты только послушай!

– Теперь уж недолго нам ее слушать, – отозвалась бабушка и поставила на стол горку пшеничных лепешек. – Билл Форестер посеет сегодня новый сорт травы, ее не надо будет косить. Не помню, как там она называется, но она как вырастет, сколько нужно, так сама и остановится и больше не растет.

Дедушка с изумлением уставился на жену.

– Довольно глупая шутка, – сказал он наконец.

– Иди посмотри сам. Билл Форестер говорит, это земле на пользу, – сказала бабушка. – Он уже привез новые семена, они сложены за домом в маленьких корзинках. Нужно в разных местах вырыть ямки и засыпать туда семена. К концу года новая трава убьет всю старую, и тогда можешь продавать свою косилку, она тебе больше не понадобится.

Дедушка сорвался со стула и мигом выскочил во двор.

Билл Форестер остановил косилку и, жмурясь от солнца, с улыбкой подошел к нему.

– Вот так-то, – сказал он. – Вчера купил новые семена. Дай, думаю, засею вам лужайку, пока я свободен.

– А меня почему не спросили? Лужайка-то все-таки моя! – закричал дедушка.

– Я думал, вы будете довольны, мистер Сполдинг.

– Ничего я не доволен. Покажите мне эту чертову траву.

Они стояли возле маленьких четырехугольных корзиночек с новомодными семенами. Дедушка подозрительно потыкал одну из них носком башмака.

– По-моему, это самая обыкновенная трава. А вы уверены, что вас не надули?

– Я в Калифорнии видел, как она растет. Вот настолько вырастет – и все. Если только она приживется в здешнем климате, нам уже на будущий год не придется каждую неделю подстригать лужайку.

– В том-то и беда с вашим поколением, – сказал дедушка. – Мне стыдно за вас, Билл, а еще журналист! Вы готовы уничтожить все, что есть на свете хорошего. Только бы тратить поменьше времени, поменьше труда, вот чего вы добиваетесь. – Он непочтительно пнул корзинку ногой. – Вот поживете с мое, тогда поймете, что мелкие радости куда важнее крупных. Рано утром по весне прогуляться пешком не в пример лучше, чем катить восемьдесят миль в самом роскошном автомобиле; а знаете почему? Потому что все вокруг благоухает, все растет и цветет. Когда идешь пешком, есть время оглядеться вокруг, заметить

самую малую красоту. Я понимаю, сейчас вам хочется охватить все сразу, и это, наверно, естественно, это свойство молодости. Но газетчику надо уметь видеть и мелкий виноград, а не только огромные арбузы. Вам подавай целый скелет, а с меня довольно и следа пальцев; что ж, тоже понятно. Сейчас мелочи кажутся вам скучными, но, может, вы просто еще не знаете им цены, не умеете находить в них вкус? Дай вам волю, вы бы издали закон об устранении всех мелких дел, всех мелочей. Но тогда вам нечего было бы делать в перерыве между большими делами и пришлось бы до исступления придумывать себе занятие, чтобы не сойти с ума. Так уж лучше поучились бы кое-чему у самой природы. Подстригать траву и выпалывать сорняки – тоже одна из радостей жизни, сынок.

Билл Форестер ласково улыбнулся старику.

– Знаю, знаю, – сказал дедушка. – Я становлюсь слишком болтливым.

– В жизни никого не слушал с таким удовольствием.

– Тогда продолжим лекцию. Куст сирени лучше орхидей. И одуванчики тоже, и чертополох. А почему? Да потому, что они хоть ненадолго отвлекают человека, уводят его от людей и города, заставляют попотеть и возвращают с небес на землю. И уж когда ты весь тут и никто тебе не мешает, хоть ненадолго остаешься наедине с самим собой и начинаешь думать – один, без посторонней помощи. Когда копаешься в саду, самое время пофилософствовать. Никто об этом не догадывается, никто тебя не обвиняет, никто и не знает ничего, а ты становишься заправским философом – эдакий Платон среди пионов, Сократ, который сам себе выращивает цикуту. Тот, кто тащит на спине по своей лужайке мешок навоза, сродни Атланту, который на плечах держит небесный свод. Сэмюэл Сполдинг, эсквайр, сказал однажды: «Копая землю, покопайся у себя в душе». Вертите лопасти этой косилки, Билл, и да оросит вас живительная струя Фонтана юности. Лекция окончена. Кроме того, изредка очень полезно отведать зелени одуванчиков.

– А вы давно ели зелень одуванчиков на ужин, сэр?

– Не будем уточнять.

Билл кивнул и легонько стукнул ближайшую корзинку носком башмака:

– Так вот, насчет этой травы. Я еще не все вам сказал. Она растет так густо, что наверняка заглушит и клевер, и одуванчики.

– Господи помилуй! Значит, уже на будущий год мы останемся без вина из одуванчиков? И ни одной пчелы над лужайкой? Да вы просто с ума сошли! Послушайте, сколько вы заплатили за эти семена?

– Доллар корзинка. Я купил десять штук вам в подарок.

Дедушка полез в карман, вытащил старомодный длинный кошелек, отстегнул серебряную застежку и извлек три бумажки по пять долларов:

– Билл, вы только что совершили превыгодную сделку – заработали пять долларов. Извольте сейчас же отправить всю эту чересчур прозаическую траву в овраг, на помойку, – словом, куда хотите, только, покорнейше прошу, не сейте ее у меня во дворе. Я знаю, у вас самые похвальные намерения, но я все-таки уже достиг весьма почтенного возраста, и с моими желаниями не грех считаться в первую очередь.

– Хорошо, сэр.

Билл нехотя сунул деньги в карман.

– Вот что, Билл: вы просто посеете эту новую траву когда-нибудь в другой раз. Как только я помру, на другой же день можете перекопать эту чертову лужайку. Ну как, хватит у вас терпения подождать еще лет пять-шесть, чтобы старый болтун успел отдать концы?

– Уж будьте уверены, подожду, – сказал Билл.

– Сам не знаю, как вам объяснить, но для меня жужжание этой косилки – самая прекрасная мелодия на свете, в ней вся прелесть лета, без нее я бы ужасно тосковал, и без запаха свежескошенной травы тоже.

Билл нагнулся и поднял с земли корзинку:

– Я пошел к оврагу.

– Вы славный юноша и все понимаете, я уверен, из вас получится блестящий и умный репортер, – сказал дедушка, помогая ему поднять корзинку. – Я вам это предсказываю!

Прошло утро, наступил полдень. После обеда дедушка поднялся к себе, немного почитал Уиттьера и крепко уснул. Когда он проснулся, было три часа, в окна вливался яркий и веселый солнечный свет. Дедушка лежал в кровати и вдруг вздрогнул: с лужайки доносилось прежнее, знакомое, незабываемое жужжание.

– Что это? – сказал он. – Кто-то косит траву! Но ведь ее только сегодня утром скосили!

Он еще послушал. Да, конечно, это жужжит косилка – мерно, неумоимо.

Дедушка выглянул в окно и ахнул:

– Да ведь это Билл! Эй, Билл Форестер! Вам что, солнце ударило в голову? Вы косите уже скошенную траву!

Билл поднял голову, простодушно улыбнулся и помахал рукой:

– Знаю. Но, кажется, утром я работал не очень чисто.

Дедушка еще добрых пять минут нежился в кровати, и с лица его не сходила улыбка, а Билл Форестер все шагал с косилкой – на север, на восток, на юг и наконец на запад, – и из-под косилки весело бил душистый зеленый фонтан.

\* \* \*

В воскресенье утром Лео Ауфман бродил по своему гаражу, словно ожидая, что какое-нибудь полено, виток проволоки, молоток или гаечный ключ подпрыгнет и закричит: «Начни с меня!» Но ничто не подпрыгивало, ничто не просилось в начало.

«Какая она должна быть, эта Машина счастья? – думал Лео. – Может, она должна умещаться в кармане? Или она должна тебя самого носить в кармане?»

– Одно я знаю твердо, – сказал он вслух. – Она должна быть яркой!

Лео поставил на верстак банку оранжевой краски, взял словарь и побрел в дом.

– Лина! – Он заглянул в толковый словарь. – Ты довольна, спокойна, весела, в восторге? Тебе во всем везет и все удается? По-твоему, все идет разумно, хорошо и успешно?

Лина перестала резать овощи и закрыла глаза.

– Прочитай мне все это еще раз, пожалуйста.

Лео захлопнул словарь.

– За какие это грехи я должен целый час ждать, пока ты придумаешь мне ответ? Скажи только да или нет, больше мне ничего не надо. Ты что же, не довольна, не спокойна, не весела и не в восторге?

– Довольны бывают коровы, а в восторге – младенцы да несчастные старики, которые уже впали в детство, – сказала Лина. – Ну а насчет того, что весела... Сам видишь, как я весело смеюсь, когда скребу эту раковину.

Лео внимательно поглядел на жену, и лицо его прояснилось:

– Ты права, Лина. Мужчины такой народ – никогда ничего не смыслят. Может быть, мы вырвемся из этого заколдованного круга уже совсем скоро.

– Я вовсе не жалуясь, – закричала Лина. – Я-то не прихожу к тебе со словарем и не говорю: «Высунь язык!» Лео, ты ведь не спрашиваешь, почему сердце у тебя стучит не только днем, но и ночью? Нет. А можешь ты спросить, что такое брак? Кто это знает? Не задавай вопросов. Есть же такие люди – все им надо знать: как устроен мир, как то, как се да как это... задумается такой – и падает с трапеции в цирке либо задохнется, потому что ему приспичило понять, как у него в горле мускулы работают. Ешь, пей, спи, дыши и перестань смотреть на меня такими глазами, будто в первый раз видишь.

Лина Ауфман вдруг замерла. Потянула носом воздух:

– Вот беда! А все ты виноват.

Она рванула дверцу духовки. Оттуда повалил дым.

– Счастье, счастье! – горестно воскликнула она. – Из-за этого счастья мы с тобой ссоримся, в первый раз за полгода. И в первый раз за двадцать лет на ужин будут уголья вместо хлеба!

Когда дым рассеялся, Лео Ауфмана уже и след простыл.

Грохот, лязг, схватка человека с вдохновением, день за днем в воздухе так и мелькают куски металла, дерева, молоток, гвозди, рейсшина, отвертки...

Порой Лео Ауфмана охватывало отчаяние – и он скитался по улицам, всегда беспокойный, всегда начеку; он вздрагивал и оборачивался, заслышав где-то вдалеке чей-то смех, прислушивался к забавам детворы, присматривался – что вызывает у детей улыбку? Вечерами он подсаживался к шумной компании на веранде у кого-нибудь из соседей, слушал, как старики вспоминают прошлое и толкуют о жизни, – и при каждом взрыве веселья оживлялся, точно генерал, который видит, что темные вражеские силы разгромлены и что его стратегия оказалась правильной. По дороге домой он торжествовал, пока не входил опять в свой гараж, где лежали мертвые инструменты и неодушевленное дерево. Тогда его сияющее лицо вновь мрачнело, и, пытаясь избыть горечь неудачи, он с ожесточением расшвыривал и колотил части своей машины, словно это были живые яростные противники. Наконец контуры машины начали вырисовываться, и через десять дней и ночей, дрожа от усталости, изможденный, полумертвый от голода, такой высохший и почерневший, точно в него ударила молния, Лео Ауфман, спотыкаясь, побрел в дом.

Дети ссорились и оглушительно кричали друг на друга, но при виде отца тотчас умолкли, как будто пробил урочный час и в комнату вошла сама смерть.

– Машина счастья готова, – прохрипел Лео Ауфман.

– Лео Ауфман похудел на пятнадцать фунтов, – сказала его жена. – Он уже две недели не разговаривал со своими детьми, они сами не свои, смотрите, они дерутся! Его жена тоже сама не своя, смотрите, она потолстела на десять фунтов, теперь ей понадобятся новые платья! Да, конечно, Машина готова, а стали мы счастливее? Кто скажет? Лео, брось ты мастерить эти часы, в них не влезет ни одна кукушка. Человеку не положено соваться в такие дела. Господу Богу это, наверно, не повредит, а вот Лео Ауфману один вред и никакой пользы. Если так будет продолжаться еще хоть неделю, мы его похороним в его собственной Машине.

Но этих слов Лео Ауфман уже не слышал: он с изумлением смотрел, как на него валится

потолок. «Вот так шгука», – подумал он, уже лежа на полу. Но тут его обволокла тьма, и он услышал только, как кто-то трижды прокричал что-то насчет Машины счастья.

На другое утро, едва раскрыв глаза, он увидел птиц: они проносились в воздухе, точно разноцветные камешки, брошенные в непостижимо чистый ручей, и, легонько звякнув, опускались на жестяную крышу гаража.

Собаки всевозможных пород тихонько прокрадывались во двор и, повизгивая, заглядывали в гараж; четверо мальчишек, две девочки и несколько мужчин помедлили на дорожке, потом нерешительно подошли поближе и остановились под вишнями.

Лео Ауфман прислушался и понял, что влечет их всех к нему во двор.

Голос Машины счастья.

Такое можно было бы услышать летним днем возле кухни какой-нибудь великанши. Это было разноголосое жужжание – высокое и низкое, то ровное, то прерывистое. Казалось, там вьются роем огромные золотистые пчелы величиной с чашку и стряпают сказочные блюда. Сама великанша удовлетворенно мурлычет себе под нос песенку, лицо у нее – точно розовая луна в полнолуние; вот-вот она, необъятная, как лето, подплывет к дверям и спокойно глянет во двор, на улыбающихся собак, на белобрых мальчишек и седых стариков.

– Постойте-ка, – громко сказал Лео. – Я ведь сегодня еще не включал Машину. Саул!

Саул поднял голову – он тоже стоял внизу во дворе.

– Саул, ты ее включил?

– Ты же сам полчаса назад велел мне разогреть ее.

– Ах да. Я совсем забыл. Я еще толком не проснулся.

И он опять откинулся на подушку.

Лина принесла ему завтрак и остановилась у окна, глядя вниз, на гараж.

– Послушай, Лео, – негромко сказала она. – Если эта Машина и вправду такая, как ты говоришь, может быть, она умеет рожать детей? А может она превратить старика снова в юношу? И еще – можно в этой Машине со всем ее счастьем спрятаться от смерти?

– Спрятаться?

– Вот ты работаешь, себя не жалеешь, а в конце концов надорвешься и помрешь – что я тогда буду делать? Влезу в этот большой ящик и стану счастливой? И еще скажи мне, Лео: что у нас теперь за жизнь? Сам знаешь, как у нас ведется дом. В семь утра я поднимаю детей, кормлю их завтраком; к половине девятого вас никого уже нет и я остаюсь одна со стиркой, одна с готовкой, и носки штопать тоже надо, и огород полоть, и в лавку сбегать, и серебро почистить. Я разве жалуюсь? Я только напоминаю тебе, как ведется наш дом, Лео, как я живу. Так вот, ответь мне: как все это уместится в твою Машину?

– Она устроена совсем иначе.

– Очень жаль. Значит, мне некогда будет даже посмотреть, как она устроена.

Лина поцеловала его в щеку и вышла из комнаты, а он лежал и принюхивался – ветер снизу доносил сюда запах Машины и жареных каштанов, что продаются осенью на улицах Парижа, которого он никогда не видел...

Между замороженными собаками и мальчишками невидимкой проскользнула кошка и замурлыкала у дверей гаража; а из-за гаража слышался шорох снежно-белой пены, мерное дыхание прибоя у далеких-далеких берегов...

«Завтра мы испытаем Машину, – думал Лео Ауфман. – Все вместе».

Он проснулся поздно ночью – что-то его разбудило.

Далеко, в другой комнате, кто-то плакал.

– Саул, это ты? – шепнул Лео Ауфман, вылезая из кровати, и пошел к сыну.

Мальчик горько рыдал, уткнувшись в подушку.

– Нет... нет... – всхлипывал он. – Все кончено... кончено...

– Саул, тебе приснилось что-нибудь страшное? Расскажи мне, сынок!

Но мальчик только заливался слезами.

И тут, сидя у него на кровати, Лео Ауфман, сам не зная почему, выглянул в окно. Двери гаража были распахнуты настежь.

Он почувствовал, как волосы у него встали дыбом.

Когда Саул, тихонько всхлипывая, наконец забылся беспокойным сном, отец спустился по лестнице, подошел к гаражу и, затаив дыхание, осторожно вытянул руку.

Ночь была прохладная, но Машина счастья обожгла ему пальцы.

Вот оно что, подумал он: Саул приходил сюда сегодня ночью.

Зачем? Разве он несчастлив и ему нужна Машина? Нет, он счастлив, просто он хочет навсегда сохранить свое счастье. Что же тут плохого, если мальчик умен, и знает цену счастью, и хочет его сохранить? Ничего плохого в этом нет. И все-таки...

Внезапно у Саула в окне колыхнулось что-то белое. Сердце Лео бешено заколотилось. Но он сейчас же понял – это всего лишь ветром подхватило белую занавеску. А ему показалось – что-то нежное, трепетное выпорхнуло в ночь, словно сама душа мальчика вылетела из окна. И Лео Ауфман невольно вскинул руки, словно хотел поймать ее и втолкнуть обратно в спящий дом.

Весь дрожа, он вернулся в комнату Саула, поймал хлопавшую на ветру занавеску и накрепко запер окно, чтобы она не могла больше вырваться наружу. Потом сел на кровать и положил руку на плечо сына.

– «Повесть о двух городах»? Моя. «Лавка древностей»? Ха, уж это-то наверняка Лео Ауфмана. «Большие надежды»? Когда-то это было мое. Но теперь пусть «Большие надежды» остаются ему.

– Что тут происходит? – спросил Лео Ауфман, входя в комнату.

– Тут происходит раздел имущества, – ответила Лина. – Если отец ночью до полусмерти пугает сына, значит, пора делить все пополам. Прочь с дороги, «Холодный дом» и «Лавка древностей»! Во всех этих книгах, вместе взятых, не найдешь такого сумасшедшего выдумщика, как Лео Ауфман!

– Ты уезжаешь – и даже не испробовала, что такое Машина счастья! – запротестовал он. – Попробуй хоть разок, и, уж конечно, ты сейчас же все распакуешь и останешься!

– «Том Свифт и его электрический истребитель», а это чье? Угадать нетрудно.

И Лина, презрительно фыркнув, протянула книгу мужу.

К вечеру все книги, посуда, белье и одежда были поделены: одна сюда, одна туда; четыре сюда, четыре туда; десять сюда, десять туда. У Лины Ауфман голова пошла кругом от этих счетов, и она присела отдохнуть.

– Ну ладно, – выдохнула она. – Пока я не уехала, Лео, попробуй докажи мне, что это не по твоей вине ни в чем не повинным детям снятся страшные сны.

Лео Ауфман молча повел жену в сумерки. И вот она стоит перед огромным, вышиной в восемь футов, оранжевым ящиком.

– Это и есть счастье? – недоверчиво спросила она. – Какую же кнопку мне нажать, чтобы я стала рада и счастлива, всем довольна и весьма признательна?

А вокруг них уже собрались все дети.

– Мама, не надо, – сказал Саул.

– Должна же я знать, о чем прошу судьбу, Саул, – возразила Лина.

Она влезла в Машину, уселась и, качая головой, посмотрела оттуда на мужа.

– Это нужно вовсе не мне, а тебе, несчастному неврастенику, который стал на всех кричать.

– Ну пожалуйста, – сказал он. – Сейчас сама увидишь.

И закрыл дверцу.

– Нажми кнопку! – закричал он.

Раздался щелчок. Машина слегка вздрогнула, как большая собака во сне.

– Папа, – с тревогой позвал Саул.

– Слушай! – ответил Лео Ауфман.

Сперва все было тихо, только Машина подрагивала – где-то в ее глубине таинственно двигались зубцы и колесики.

– С мамой там ничего не случилось? – спросила Ноэми.

– Ничего, ей там хорошо. Вот сейчас... Вот!

Из Машины послышался голос Лины Ауфман:

– Ах!.. О!.. – Голос был изумленный. – Нет, вы только посмотрите! Это Париж! – И через минуту: – Лондон! А это Рим! Пирамиды! Сфинкс!

– Вы слышите, дети: сфинкс! – шепнул Лео Ауфман и засмеялся.

– Духами пахнет! – с удивлением воскликнула Лина Ауфман.

Где-то патефон тихо заиграл «Голубой Дунай» Штрауса.

– Музыка! Я танцую!

– Ей только кажется, что она танцует, – поведал миру Лео Ауфман.

– Чудеса! – сказала в Машине Лина.

Лео Ауфман покраснел:

– Вот что значит жена, которая понимает своего мужа.

И тут Лина Ауфман заплакала в Машине счастья.

Улыбка сбежала с губ изобретателя.

– Она плачет, – сказала Ноэми.

– Не может этого быть!

– Плачет, – подтвердил Саул.

– Да не может она плакать! – И Лео Ауфман, недоуменно моргая, прижался ухом к стенке Машины. – Но... да... плачет, как маленькая...

Он открыл дверцу.

– Постой. – Лина сидела в Машине, и слезы градом катились по ее щекам. – Дай мне доплакать.

И она еще немного поплакала.

Ошеломленный, Лео Ауфман выключил свою Машину.

– Какое же это счастье, одно горе! – всхлипывала его жена. – Ох как тяжело, прямо сердце разрывается... – Она вылезла из Машины. – Сначала там был Париж...

– Что ж тут плохого?

– Я в жизни и не мечтала побывать в Париже. А теперь ты навел меня на эти мысли.

Париж! И вдруг мне так захотелось в Париж, а ведь я отлично знаю, мне его вовек не видеть.

– Машина, в общем-то, не хуже.

– Нет, хуже! Я сидела там и знала, что все это обман.

– Не плачь, мама!

Лина посмотрела на мужа большими черными глазами, полными слез:

– Ты заставил меня танцевать. А мы не танцевали уже двадцать лет.

– Завтра же сведу тебя на танцы!

– Нет, нет! Это не важно, и правильно, что не важно. А вот твоя Машина уверяет, будто это важно! И я начинаю ей верить! Ничего, Лео, все пройдет, я только еще немножко поплачу.

– Ну а еще что плохо?

– Еще? Твоя машина говорит: «Ты молодая». А я уже не молодая. Она все лжет, эта Машина грусти!

– Почему же грусти?

Лина уже немного успокоилась.

– Я тебе скажу, в чем твоя ошибка, Лео: ты забыл главное – рано или поздно всем придется вылезать из этой штуки и опять мыть грязную посуду и стелить постели. Конечно, пока сидишь там внутри, закат длится чуть не целую вечность и воздух такой душистый, так тепло и хорошо. И все, что хотелось бы продлить, в самом деле длится и длится. А дома дети ждут обеда, и у них оборваны пуговицы. И потом, давай говорить честно: сколько времени можно смотреть на закат? И кому нужно, чтобы закат продолжался целую вечность? И кому нужно вечное тепло? Кому нужен вечный аромат? Ведь ко всему этому привыкаешь и уже просто перестаешь замечать. Закатом хорошо любоваться минуту, ну две. А потом хочется чего-нибудь другого. Уж так устроен человек, Лео. Как ты мог про это забыть?

– А разве я забыл?

– Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день.

– Но это очень грустно, Лина.

– Нет, если бы он длился вечно и до смерти надоел бы нам, вот это было бы по-настоящему грустно. Значит, ты сделал две ошибки. Во-первых, задержал и продлил то, что всегда проходит быстро. Во-вторых, принес сюда, в наш двор, то, чего тут быть не может, и все получается наоборот, начинаешь думать: «Нет, Лина Ауфман, ты никогда не поедешь путешествовать, не видеть тебе Парижа. И Рима тоже». Но ведь я и сама это знаю, зачем же мне напоминать? Лучше забыть, тянуть свою лямку и не ворчать.

Лео Ауфман прислонился к Машине, ноги у него подкашивались. И с удивлением отдернул обожженную руку.

– Как же теперь быть, Лина? – спросил он.

– Вот уж этого я не знаю. Но только, пока эта штука стоит здесь, меня все время будет тянуть к ней, и Саула тоже, как прошлой ночью: знаем, что глупо и ни к чему, а все равно захочется сидеть в этом ящике и глядеть на далекие края, где нам вовек не бывать, и всякий раз мы будем плакать, и такая семья тебе вовсе не годится.

[Купить полную версию книги](#)



Из баллады Редьярда Киплинга.

Бытие, 3:19.